



МАРТ, АПРЕЛЬ,



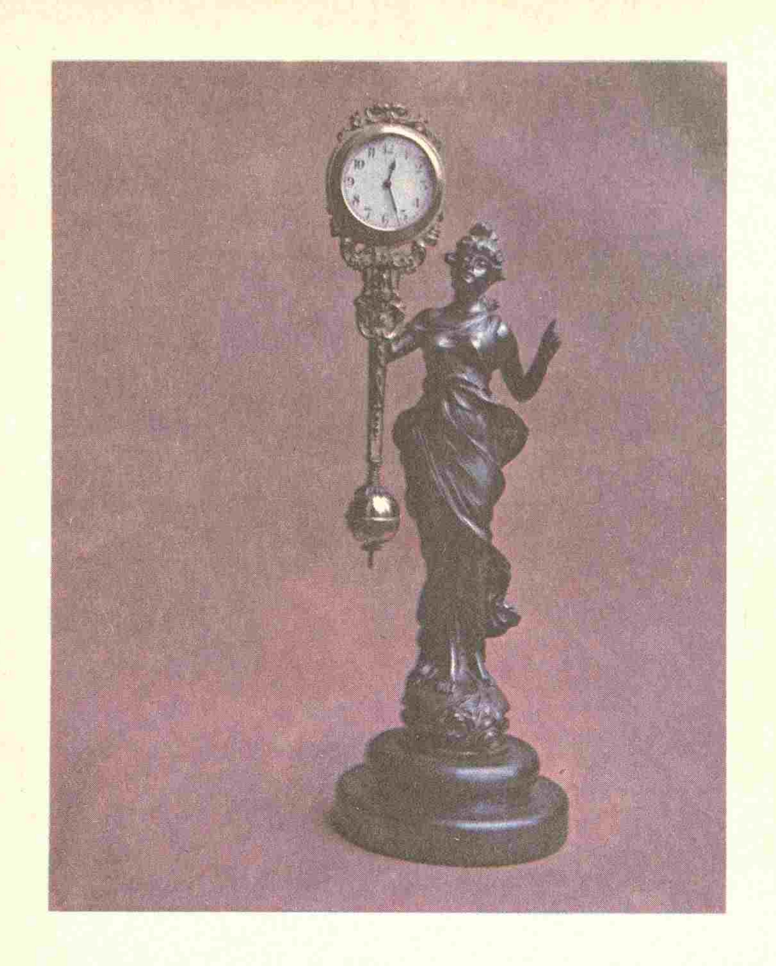
АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН — ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ

АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — ЗАЛОГИ

РАССКАЗЫ БОРИСА ЛАПИНА, ВАЛЕРИЯ НЕФЕДЬЕВА, ЛЮБОВИ ЩЕДРОВОЙ

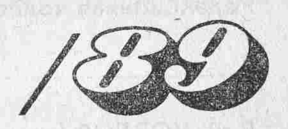






Богиня времени с качающимися часами.
Художественное литье, конец
XVII — начало XVIII в.







Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

ОСНОВАН В 1930 году

СОДЕРЖАНИЕ



Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

Иркутской писательнице Валентине Ивановне Мариной исполнилось 75 лет.

Бюро Иркутской писательской организации, редколлегия «Сибири» поздравляют Валентину Ивановну с юбилеем и желают ей здоровья, благополучия и творческого долголетия!

На 2-й, 3-й страницах обложки. на вклейке — часы из коллекции П. В. Курдюкова

ISSN 0132-6740





Анатолий Байбородин

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЕШЬ

ОЧЕРК

Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, сохранено, что народ пронес через столетия.

Всероссийский староста
Михаил Иванович Калинин

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.
А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

Сергей Есенин

После долгой отлучки, решительно и отчаянно отмахнув от себя опутывающие по ногам и рукам бесконечные заботы-хлопоты, приехал в начале лета в родную забайкальскую деревню. Может быть, и в то лето, как обычно, не смог бы вырваться — что-нибудь да помешало бы: срочная работа, какая и до гробовой доски будет срочной, семейные ли печали, хворь ли, а то и просто лень-матушка,— но только вдруг стало совестно, будто уже много лет, приглушив в себе тоску, не навещал родную мать; приступало иной раз такое чувство, что если уж нынче летом не приеду в Сосново-Озерск, то все, что-то самое очистительно-светлое, связанное с детством и озером, с деревенской жизнью, со степными увалами и голубичными лесами, пропадет в душе, оставив после себя холодную скуку. И жизнь уже станет не в жизнь — одни сплошные грешные и злые дожитки. Но с другой стороны, и сама деревня до времени пугала — так мало в ней осталось тихого сельского раздумчивого, вроде как конно-гужевого, так много накопилось грохота и чада, так редко уже увидишь умудренно-спокойное лицо мужика-хозяина и так много хмельных и психованных механизаторов, у которых через слово да каждое слово мать-перемать. Но, преодолев суету и настороженность, все же поехал — в конце концов деревня это не только улицы с нынешними двухэтажными бараками, прозываемыми муравейниками, не только опухшие лица возле винополки, это и озеро, окрестная тайга, заокольная степь. Словом, приехал.

Много всего было в той поездке, но коечто запомнилось особенно, вроде как душой. Помню, ясным, по-летнему протяжным вечером сидел на лавочке подле старенькой избы, где доживала свой век моя тетушка по

отцу. Чуть ли не со всяким прохожим приходилось не только раскланиваться, но и, как заведено в деревне, подробно выкладывать о своем житье-бытье в городе, что-то при этом, невольно желая чуточку выхвалиться перед земляками, привирая, приукрашивая. И такое рождалось счастливое ощущение, что будто воистину вся деревня — твоя родная изба, родное подворье, а земляки — твои родные домочадцы, имеющие полное право знать твою жизнь. Тогда, лет уже около семи назад, еще много в деревне оставалось родни, близко знакомых, старых соседей, это теперь уже немало из них поукочевало искать доли в чужих краях.

После дневного пыльного зноя опускалась с засиневшего неба и навеивалась с озера сырая прохлада, а вместе с ней — легкая певучая тишь, когда деревня, глядя на ночь, словно задумывается о прожитом дне, потом, уставившись осоловелым взглядом в разлитый на полнеба закат, молит ненавязчиво и вяло о благостном завтрашнем дне, загадывая на него хоть какую-то малую отраду. Еще не загнанные в стайки лежали в пыли, растопорщив крылья, уморенные полуденным зноем куры; в густой и четкой тени заплотов под разлапистой и буйной крапивой дремали коровы, с закрытыми глазами пережевывая свою вековечную жвачку, пуская с губ зеленоватую тянучую слюну.

А в это время посередь широкой, по-степному пустой улицы шли, взявшись под руки, три старушки в цветастых платках, черных плюшевых дошках, из-под которых выглядывали пестренькие запаны; шли они, пришаркивая тряпичными ичигами, и тянули какую-то ранешнюю песню. Так как была она старая и незнакомая мне, да еще пели ее с подхватом, с подголоском, то я, конечно, не мог точно разобрать, о чем поют. Но таким миром и благостью, как и от всей вечереющей улицы, таким покоем веяло от песни, да и от самих старушек, и такое все это было до слез родное, русское, что душа моя как-то смущенно и счастливо замерла... Минуты были редкие, очень редкие.

Теперь же, спустя годы, когда я вспоминаю тех поющих старушек, все мне чудится, что пели они печально и что будто несли народную песню прощальным путем: несли к озеру, потом вдоль озера в степь, к могилкам на увале, чтобы там уже оплакать и навеки попрощаться с ней. И стыдно мне было и за себя, и за все новое русское поколение, уже не способное, как было тысячи лет в народе, подхватить песню из стареющих уст.

Славно прошедшая сквозь наволочь веков, очищающая и осветляющая русича со времен князей Кия и Руса, спасающая в лихолетье, бодрящая и умиляющая душу в праздники, обожествляющая Землю и Небо, порожденная загадкой и непостижимой мудростью, поэтическим гением русского крестьянина,— песня народная не умерла, но уже из горниц и крестьянских дворов, с улиц и околиц, с хлебных полей и покосных лугов перекочевала потихоньку в концертные залы. Это горько. Ну да ладно, что хоть совсем не исчезла с лица земли русской, что еще любима теми, кто не отрекся от своего народа, от своих дедов и прадедов, кто не изменил в душе нашей древней родине. Может быть, в этом есть залог нашего будущего национального возрождения.

* * *

В связи с народной обрядовой песней вспоминается один праздник в «сибирской деревне» — в музее деревянного зодчества, что на сорок седьмом километре Байкальского тракта. Обрядовые песни (а без обряда они в народе и не жили) отдаленно и смутно напомнили нам о древнейшем русском, славянском (а возможно, индоевропейском, арийском) русальском празднике, который позже стал именоваться семиком (четверг седьмой недели по пасхе). Вообще, вся седьмая неделя после пасхи (семицкая) именовалась русальской, и начиналась она от семика, или ярилина дня, и завершалась на Ивана Купалу (день летнего солнцестояния), то есть на рождество Иоанна Предтечи. Не нужно большого воображения, чтобы, познакомившись с фольклорными, этнографическими, археологическими материалами, касаемыми семика, представить всю чарующую, колдовскую силу, всю природную стихийную красу русалий — обрядов на ярилин день и

на Ивана Купалу. «Русалии в древней Руси были кульминационной точкой народных языческих празднеств,— говорится в книге С. Б. Рыбакова «Язычество древней Руси».— Все виды искусства проявлялись в них полной мерой: музыка, пение, танцы, военные игры, театрализованные действа, проводившиеся иногда в масках... По повериям, на древних ритуальных городищах вроде Лысой горы под Киевом русалии справляли слетавшиеся сюда ведьмы. Русалии — это «сбор великий» большого количества людей, одетых в яркие праздничные одежды, «упестренных»... Русальские «игры» состоят в хороводах (хоро) и разнообразных танцах и прыжках (в Стоглаве — «плясанье и скаканье»). Танцы ведутся в быстром, бешеном темпе, когда кажется, что русальцы не касаются земли. Главным мотивом являются «разнообразнейшие формы извивания», что заставляет вспомнить бичуемое русскими церковниками XI—XII вв. «многовертимое плясание». Пляска сопровождается восклицаниями, вскриками. Игра завершается тем, что «русальцы доходят до исступления и падают без чувств». Самая темпераментная заключительная самовильская мелодия носит характерное название «флоричка», подчеркивающее аграрно-магический облик русальских игр.

Без всякого сомнения русальские обряды связаны не только с солнечным Ярилой, куклу которого носили на «игрищах идольских», но и, в первую очередь, с русалками, покровительницами рос. Болгарский ученый Д. Маринов писал о том, что русалки есть прелестные девушки с косами до пят и крыльями, что селятся они на краю света, а к людям приходят лишь раз в году и орошают дождем хлебородные нивы. Они расплескивают росу из рога, и хлеб начинает колоситься. От русалок зависит плодородие нив. Они и пекутся о дожде и орошении полей, и об опылении цветущих хлебных колосьев, когда нивы сияют, потому что это их брачное торжество. Недаром у нас на Руси еще в нынешнем веке, может быть, с десяток лет назад по глухим деревушкам незамужние девушки русальскими ночами ходили по полям до утренней зари, пели веснянки и купались голыми в росе, чтобы «тело было бело».

Очень интересно описывает русалии знаменитый русский писатель-этнограф С. В. Максимов в своей прекрасной книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», которая, как и «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьева, до сих пор не издана в полном объеме, хотя обе книги должны бы стать не только достоянием ученых, а настольной книгой всякого русского человека, любящего свое Отечество. С. В. Максимов пишет о том, что после троицына дня пензенские крестьяне устраивали встречи и проводы русалок: парни рядились козлами, свиньями и обязательно конем, надевали маски и под музыку и звон сковородок и печных заслонок плясали и скакали, переходя из села в село. В голове «со-бытия, толпищи» русальщики несли чучело коня с настоящим конским черепом на шесте, которое, очевидно, и было в древности символом солнечного Ярилы. А в это время играли скрипки, балалайки, гудки, свирели, сопелки, а позже и гармони; девки в ярких, нередко красных сарафанах водили хоровод, сам собой являющийся образом солнца (хоро, хорс); пелись веснянки, под которые девушки плели венки и, загадывая себе суженого, бросали в речку или озеро; а под вечер ряженные в козлов, свиней и лошадей молодые парни гонялись за девчатами, щипали, обнимали, мазали сажей. В разных краях Руси по-разному проходили русалии, в которых немало воли давалось веселой, озорной, а порой по христианским понятиям и диковатой импровизации. Максимовым в одной деревне записано было такое русальское игрище: «Молодые крестьяне, наряженные в торпища — холщовые простыни, дерюги,— будто русалки, прячутся во ржи. Когда появляются бабы, девки, крестьяне легонько хлопают бичами. «Русалоцки, русалоцки!» — кричат бабы и испуганно разбегаются. Мужики догоняют их, охаживают бичами. Бабы спрашивают: «Русалоцки, как лен?» Ряженые показывают на длину кнута. Бабы выкрикивают: «Ох, умильныя русалоцки, какой хороший!» Если говорят это, их перестают бить».

«Русалии являются общеславянским (а мо-

жет быть, и общеиндоевропейским аграрным праздником, связанным с плодородием полей, молениями о дожде и рождении новых колосьев»,— указывает С. Б. Рыбаков в уже названной книге «Язычество древней Руси», которая, как мне думается, как и первая книга «Язычество древних славян», может вполне стать в ряду таких великих сочинений, как «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьева.

Я уделил, может быть, немного больше места этнографическим материалам, касаемым семика, но сделано это ради напоминания о высокой поэтической обрядности русальского праздника и в то же время как некоторый упрек нашим устроителям народных празднований, фольклорным коллективам, которые зачастую представляют нам голое, безобрядовое пение, тем самым умаляя, грубо искажая народную поэтическую культуру, в которой песня всегда сопутствовала какому-то обрядовому или трудовому действу.

Показалось мне очень важным, что русальская или семицкая неделя именовалась еще и «задушные поминки» и «зеленые святки», поскольку разом поминались помершие предки и воздавалась хвала Небу (Дажьбог, Стрибог, Сварог, Перун) и Земле (Макошь, Лада и Леля) за то, что из их могучей и сокровенной любви (молнии Перуна и оплодотворяющая влага дождя) народилась новая, вешняя жизнь, заполыхали по полям и угорам игривые зеленя, княгиней которых издревле была молоденькая березынька, как и Макошь, да и как Лада с Лелей, дарующая женкам чадородие, земле плодородие, сторожащая посевы от градобития, вымаливающая в засуху дожди. В довладимировском язычестве Русь поклонялась рожаницам, веселым весенним богиням Ладе и Леле, как бы прислуживающим своей матери, верховному «бабьему божеству» Макоши (мать-сыра земля, макушка лета, матерь урожая). Этих рожаниц называли иногда и берегинями, отчего, возможно, и была названа береза, поскольку в древности она появлялась на том же русальском празднестве как символ богинь-рожаниц. Но береза — это еще и оберег от злой и нечистой силы, равно грозящей и посевам, и женам, уже зачавшим плод или загадывающим про него.

В книге Б. А. Рыбакова приводится выписка из челобитной 1636 года, рассказывающая о языческом семике с христианским осуждением: «В семый четверток по пасце (семик) собираются жены и девицы под древа, под березы и приносят яко жертвы: пироги и каши, и яичницы и, **поклоняясь березам** (подчеркнуто мною.— **А. Б.**), учнут песни сатанинские, приплетая, пети и дланми плескати и всяко бесятся».

Я, живя в забайкальской деревне, еще застал зимние святки, когда и «машкарадились», то есть рядились, и ходили по избам, распевая коляды, собирая в куль подношения, но вот зеленые святки — семик с русалиями — видеть уже не довелось. Но мать поминала, что березку, какую заламывали на троицу, в их забайкальской деревне ласково величали кумушкой или венком, цветком или калиной и носили кумушку, разнаряженную в ленты и платки, деревенские девки, носили, распевая песни (конечно, веснянки), где припевом шло: «Ой, лели, лели...», что и напоминало о древней славянской богине весны Леле; потом эту разнаряженную березку пускали по реке, в воды которой кидали и венки, снятые с голов. В троицу же уходили куда-нибудь за деревню в березовый перелесок, где тоже вплетали в зеленые березовые косы красные яркие ленты, сверху надевали ситцевый платочек. Под этой березой молодые девки с парнями водили «карагоды», под ней же щедро потчевались. Непременными на праздничной скатерти-самобранке были яйца, как на пасху, крашенные, расписанные яйца-писанки, в росписи которых уже бессознательно выжили древнейшие славянские символы-обереги, образно воплощающие Вселенную с мать-землей сырой, хотя уже само яйцо даже без росписи являлось символом Мира, символом Солнца, символом нарождения новой жизни.

Это был один из самых впечатляющих русских праздников, когда от плача и приче-

ти по усопшим переходили к песням и буйным, как вешняя зелень, пляскам, когда очистительно горюнилась, страдала, а потом живительно ликовала русская душа, всякий раз вновь обретаясь, укрепляясь, чтобы дивить мир своей невиданной силой и красой, заключенной в редчайшем терпении, в любви и жалости ко всему сущему на земле. И как все же скорбно, как непостижимо умом, что этот праздник, а равно и зимние святки, и весенняя масленица, дивные по своей величавой, буйно обрядово-поэтической красе, народившись в славянской древности, веков за двадцать пять до нынешнего времени, переборов христианское неприятие, в теперешнем веке за какие-то два-три десятка лет исчезли из народной жизни. Двадцать пять веков жили, а тут на тебе, разом канули, как почти канула, едва уже теплится и сама народная кульутра, выраженная и в устном слове, и в прикладном творчестве.

Даже христианство вынуждено было смириться с древними языческими верованиями русского народа, поставив на месте языческих капищ православные храмы, выдвинув сходных с языческими своих богов (Бог-отец христианский — Бог-отец Стрибог, или Сварог Небесный, Бог-сын Христос — Бог-сын Дажьбог, Святой дух — Семаргл, крылатый пес, Илья-пророк — Перун, Параскева Пятница — Макошь, Власий — Велес или Волос, «скотий боге», и так далее). Разумеется, христианство воинственно и жестоко боролось с языческим обожествлением небесных сил.

Можно предположить, что наш предок, поняв, что в основе того и другого верования лежит душа с ее бессмертием, будучи нравственно уже, скажем, недостойным полной языческой воли (это особенно касалось княжеских дворов, княжеских дружин, городского посадского люда и в меньшей мере крестьянства), принял христианство, но так или иначе с грехом и горем пополам отстоял много дорогих душе языческих поверий и обрядов, что породило русское провославие, хотя и двоеверное по сути, но величавое по своей художественной, обрядовой силе, истинно национальное верование.

Так вот, выстояв перед христианским напором, народные поверия, ритуалы, трудовые и праздничные обряды, народные ремесла, в творениях которых выражалось природное, языческое воззрение на мир, прожив века, в нынешнем столетии странным и жестоким образом замерли.

* * *

Но вернемся в «сибирскую деревню», где и развернулся тогда русальский праздник — семик, вернее, уже слабое подобие его.

И тут грех не сказать о самом музее... Архитектурно-этнографический филиал Иркутского краеведческого музея, прозываемый «сибирской деревней», хоть и строится уже полтора десятка лет, строится через пень колоду, с бесчисленными огрехами, о чем говорил, будучи в музее, знаменитый исследователь русской деревянной архитектуры А. В. Ополовников, тем не менее уже стал местом паломничества не только отечественных туристов, но и зарубежных.

И тут трудно удержаться, чтобы не сказать еще об одном деле, и это будет совершенно к теме начатого разговора. Я приметил, чем именно интересуется зарубежный путешественник в Иркутске, как, впрочем, наверное, и в любом более-менее старинном русском городе. Ясное дело, безликая тем и бездуховная «железобетонная и стеклянная» архитектура — все эти Дворцы спорта и культуры, похожие на крематории, торговые комплексы, дома-башни — ничего в туристе, кроме равнодушного зевка, породить не могут: у них это делается получше, нашим градостроителям за ними еще гоняться да гоняться, если бы это имело какой-то здравый эстетический смысл. Или уж на эти нагромождения тяжких серых плит те же туристы глядят с досадой, когда они, эти плиты, ломая исторически и художественно сложившийся облик прекрасного города, заслоняют храмы, нависают над деревянными постройками — вдохновенными творениями народного зодчества. Словом, если зарубежного туриста что и приманивает в нашем городе, так это перво-наперво православные храмы и наши деревянные постройки, изукрашенные поэтически загадочной резьбой, в которой еще можно высмотреть отзвуки

древнерусских языческих символов-оберегов (знаки земли и солнца, земных и небесных вод, напрямую одушевляющих, потом обожествляющих небесные и земные стихии). Отцы же города и сами градостроители и их прислужники архитекторы, у которых будто глаза запорошены космополитической «цементной пылью», изо всех сил поспешают смести с лица города все, что так высоко украшало его, что придавало ему национальное своеобразие. Если не все могут снести — руки коротки или общественность нет-нет да и заступает дорогу, то те же деревянные дома и даже лучшие из них — произведения народного зодчества — отданы на медленное, а порой и не очень медленное верное умирание. И это ведь ловко получается. Не нужно варварски разрушать — зачем лишняя нервотрепка?! — надо просто дать деревянным домам умереть своей смертью, сгнить и обветшать без всякого хоть мало-мальского ремонта и благоустройства. Тут уж виноватого не сыщешь, тут уж все можно свалить на время, немилосердное к дереву, хотя, как известно, постройки из лиственя, если они рублены верно, если за ними ухаживают, могут простоять и три и более веков. И дело тут не в том, чтобы сохранить деревянные дома, представляющие несомненную художественную ценность,— это очень опасный взгляд, потому что такой дом смотрится лишь в своей естественной среде, то есть в соседстве других деревянных построек, пусть даже и не представляющих великой архитектурной ценности, а значит, охраняться, восстанавливаться должна вся среда, вся деревянная часть города, потому что лишь тогда она будет исторически верна и художественно ценна. Но о какой охране городской среды может идти речь, если мы даже и лучшие, талантливые образцы этой среды не можем сохранить, отстоять. Строить дома, которые могли бы стать творениями зодчества наравне с древними храмами, мы не научились да и не обучались, раз и навсегда решив, что нет какого-то отдельного русского национального стиля в зодчестве, но вот разрушать за семьдесят лет так, говоря по-русски, насобачились, что диву даешься и опять о многом, многом горько призадумываешься.

Так вот, осмотрев в городе православные храмы, купеческие дома, деревянные постройки посадского люда, туристы валом валят в заповедный сибирский уголок, что на сорок седьмом километре тракта, невдалеке от Байкала.

Не ветшая, а точно в насмешку над всем новым, что быстро портиться, в доказательство своих преимуществ перед нынешним людским жильем, могучие вековые избы мудро и спокойно, пусть даже с погостовой отрешенностью от жизни, стоят на высоком ангарском берегу, словно уже пустив в него свои каменеющие лиственничные коренья. И вот уже такое, может быть, обманчивое впечатление, что будто и не складывали их тут, а будто они, матерые избы, сами выросли, как вырастают могучие листвени, обхватистые, гудящие сосны. Так оно раньше и было: крестьянская изба, от роду которой, надо полагать, не менее тридцати веков, сроду не противостояла ни полям, ни лесам, ни степным увалам, а, как бы просительно, любовно прилаживаясь к ним, срастаясь с ними, являлась тем самым продолжением земной, природной красы. И даже снабженная многочисленными, выраженными в резьбе карнизов, причелен, «полотенец», коньков, заклинательными символами-оберегами (знаки Солнца в положении восхода, полудня, заката или солнечные кресты, знаки земли, знаки небесных и земных вод, фигуры Макоши — Мать-сыра земля, солнце-конь на охлупене и так далее) русская, славянская изба являла собой и образ Вселенной.

Той же могутностью и вековечностью, как и от изб, тем же природным теплом мастеровитых крестьянских рук, той же по-сибирски тихой, но основательной красой веет и от бань и сенников, от амбаров и завозен, от стаек и навесов и даже от самих бревенчатых заплотов и тесовых ворот с крышами-навесами.

И так вдруг явственно начинает ощущаться сухой и теплый, белесый, протяжный и распевный лад крестьянских будней: вот, кажется, заголосит петух, ревниво подхватиться другой, и разбуженный ими зоревый свет с виноватой поспешностью сотрет с морщинистых венцов ночную хмурь, увеселит

их теплой желтизной; вот где-то в стайке глухо взмыкнет корова, ей подтянет соседская, потом вдоль улицы проплывет зазывный голос пастуха; вот щекастая, розовая со сна молодуха спустится по лесенке с сеновала и, оправляя сарафан и выбирая из волос приставшие сухие былки, счастливо улыбнется чем-то своему, мимолетно полюбуется ясным зоревым светом, потом, схватив ведра, коромысло, просеменит к реке, над которой стелется белый туман; вот уже какой-то мужик на телеге-двуколке, мягко постукивающей колесами, выедет к светлеющей околице, оставляя на росной траве извилистый след...

Но нет, глухо в музейной «деревне», как на могилках, и тишина эта на весь ее оставшийся, теперь уже праздный век...

И так было утешительно, радостно, что в день семика и троицы «деревня» ожила не только и не столько крикливо-яркими, пугающими «деревню» и окольный березняк гремящими куртками туристов и чужеземной речью, — избы и подворья ожили вдруг будто бы взаправду, пусть даже не буднично, а празднично. Где-то на краю заиграла гармошка, заиграла для зачина неторопко и распевно, пробуя голос, потом в этот голос впелась и старинная русская песня, которая — даже если с ходу и не разобрал слов — тревожит, бередит сердце предчувствием чего-то самого родного, самого счастливого, будто после долгой и опасной разлуки увидел свой отчий дом, мать, семью, по которым изболелось сердце. И вот уже по улице, осиянной нежарким солнышком, под переборы, переливы гармошки прошли в русских платьях те, кто знал и помнил такую деревню вживе, любил ее и в добром благе, и в горьком лихолетье, кто и дотягивал свой век по деревушкам. Шли наши старые матери и бабушки...

Во всех трех усадьбах «деревни» в этот день звучали народные песни: и протяжные сибирские, и застольные, и подблюдные; и песни посиделок, и свадебные, и хороводные, и шуточные, и частушки-тараторки. Но в первую очередь, согласно празднику, песни, которые теперь зовут семицко-троицкие, чаще всего воспевающие березу-берегиню. Тут надо сказать, что народные песни, собранные и записанные даже на малую толику, уже составляют многие тома — Россия широка, необъятна, а у каждой деревушки своя новинушка, — но дело в том, что невозможно чуять всем сердцем народную песню из книги, ее можно расчувствовать только в пении, в пении многоголосном, включенном в обрядовое действо, да и в родной, то есть деревенской среде. В этом смысле «сибирская деревня» просто незаменимое место для народных праздников, для исполнения народных песен. Как живо звучит среди березовых колков, приступивших к усадьбам:

Я, млада девица, загуляла,
Белую березу заломала,
Люли, люли, заломала.
Выломлю я два пруточка,
Сделаю я два гудочка.
И четвертную балалаечку,
И четвертную балалаечку,
Стану балалаечку играти,
Милого дружка вспоминати,
Ах, люли, люли, вспоминати...

Постукивали каблуки на дощатых «чистых дворах», пришаркивали в лад мягкие подошвы во время хоровода. Пели с такой редкой в наше время задушевностью песельницы — песни народных хоров — и с такой природно русской, какой-то отчаянной удалью, что, как однажды в родной деревне, когда тянули старину две бабушки, я как бы вновь счастливо и гордо ощутил себя русским, как и ощутил, что все: и могучие избы, и бревенчатые заплоты, и поля среди березняков, сине мерцающие незабудки, и Ангара с отраженными в ее глуби таежными хребтами и белыми облаками, и песни, пляски — все это мое родное, русское.

Их, старушек или женщин в добрых летах, на песню и «плясанье, плесканье» гораздых, нельзя было назвать артистками — это и чуждое, и как бы малое для них звание, потому что пели они под гармонь, под балалайку, водили «карагоды», сыпали частушками больше всего в свое собственное удовольствие: пели то, что само собой, знаемое сызмала, выпевалось из души. И от их пения, такого родного избам и амбарам, кажется, сама «деревня» вдруг очнулась от колдовских чар, встрепенулась всеми своими старыми венцами и, счастливо обмирая, боясь

даже поверить до конца, затихла — она знала, помнила всеми половицами, всеми венцами, помнила и любила эти песни, потому что с ними проходила вся человечья жизнь в ее дворах и избах.

Да, пели не для славы, не для корысти, на свое увеселение, как издревле было. Помнится, даже мать моя только бывало услышит, как по радио запоют, заиграют плясовую, сразу же лукаво подмигнет нам, ребятишкам: дескать, ишь как пляшут да поют — весело гуляют... А когда прознала, что этим певням еще и деньги платят, как за работушку, так диву далась: «Ло-овко, напоются, напляшутся до упаду, да им же еще и деньги... А раньше дак, наоборот, чтоб попеть да поплясать, ежели зима, так избу откупали. Яичек, сала хозяйке понатащут, она тогда и согласится пустить на посиделки...»

В самом деле, как писал Валентин Распутин в предисловии к сборнику русских сказок Забайкалья, составленному талантливым собирателем и исследователем сибирского фольклора Валерием Павловичем Зиновьевым: «Было время: без песни не обходилась ни общинная работа, ни застолье, ни посиделки. В последний путь провожали с причетом, в котором слышались не только боль от горькой утраты близкого, но и поклонение всему роду-племени. Приступая к страде, разговаривали с землей, просили ее о помощи, а потом благодарили за щедрость. Ребенка усыпляли колыбельной, от которой у матери отмякало после трудного дня и успокаивалось, принимая с благодарностью судьбу, сердце. И радостные, и безрадостные события сопровождались обрядами. Народ не расставался с поэзией во всем круговороте жизни. И песенники, сказители, мастера меткого слова ценились в своем миру, пользовались уважением как люди особенные, выделенные богом для общей отрады».

Славный тогда получился праздник в музейной «деревне», и все же нет-нет да и, несмотря на удалое веселье, разживившее кладбищенскую тишь музейных дворов, ложилась на душу печаль: горько было глядеть и стыдно слушать, когда старушки, завивая «девичий карагод», к примеру, пели:

Я, млада девица, загуляла,
Белую березу заломала...

А иной «младой девице» уже седьмой десяток, и, как у нас в деревне говаривали, перекрестясь, дескать, в глинско старенька поглядывает или в мохово. Всякому возрасту — свои песни, поэтому и у стариков, старух были свои, приличествующие летам.

* * *

Горе нашего великого народа, стыд и позор на головы молодых русских, когда наши свадебные, хороводные, девичьи песни на зимние святки, на масленицу, на летние святки поют древние старушки, тогда как эти обрядовые песни к лицу лишь молоденьким девицам, которые, как я нередко замечал, во время таких праздников или глазеют на старушек, или подсмеиваются исподтишка, а то еще и зубоскалят: мол, русские народные, блатные хороводные... Было бы, наверно, еще скорбнее, еще больнее за нашу древнюю святую Русь, если бы старушки пошли носить по той же музейной «деревне» обряженную лентами, платками и цветами, кумушку-березку, какую в досельное время носили только девушки на выданье, славные своей красой и чистотой; и было бы смешно, вернее даже грешно, если бы те же старушки пошли плести веночки и кидать их в Ангару, загадывая о мил-дружке и припевая:

Размолоденький молодчик молодой,
Моему-то сердцу друг-приятель дорогой,
Ты не стой, парень, не скучайся надо мной,
Будет времечко, нагуляемся с тобой...

Когда бы мы, новое поколение русских, любили свои народные песни, а любя, возносили бы их над народными песнями других народов, то нас бы, конечно же, упрекнули в той самой злополучной «позолотце», какую мы, пусть даже из сыновней и дочерней любви, наводим на свою культуру, на свою историю. Упрекнули бы и завопили: дескать, не надо нам сусальной Руси, не надо нам квасного патриотизма, дайте нам взаправдашнюю Русь, а взаправдашняя она — рвань, пьянь, дикость и рабство, и только благодаря просвещенцам-западникам, благодаря социальному перелому и техническо-

му прогрессу стала просыпаться от многовековой дикости и темноты к свету истинной культуры. Конечно, мы бы могли и возразить, что вряд ли темнота и дикость могли породить гениальнейшую и необозримую народную культуру: фольклор и произведения художественных ремесел, сюжетам, канонам, традициям и символике которых более двадцати веков; вряд ли рвань и пьянь могли создать «Слово о полку Игореве», которое признано непревзойденнейшим шедевром мировой поэзии и которое, как не без основания предполагают ученые, изначально было произведением устного творчества и пелось. Ничего же подобного в наш просвещенный век мы создать не можем — угасло устное творчество, которое порождало поэтические шедевры, привяли художественные ремесла, канули народные обряды. Так что надо еще задуматься об особенном, общинном укладе старорусской жизни, порождавшей сверхгениальную устную и прикладную культуру.

Но пусть мы даже согласимся, что все из той же сыновьей любви чуточку возвеличиваем свою отечественную культуру, в данном случае народную песню. А послушаем тогда, что сказал о ней Рудольф Вестфаль, крупный немецкий ученый, исследователь античной филологии и поэзии, знаток немецкой и русской культуры: «Поразительно громадное большинство русских народных песен как свадебных и похоронных, так и всяких других представляют нам такую богатую, неисчерпаемую сокровищницу истинно нежной поэзии, чисто поэтического мировоззрения, облеченного в высокопоэтическую форму, что **литературная эстетика, приняв раз русскую песню в круг сравнительных исследований, непременно назначит ей безусловно первое место между народными песнями всех народов земного шара.** И немецкая народная песня представляет нам много прекрасного, задушевного и глубоко прочувствованного, но так узко течение этой песни в сравнении с широким потолком русской народной лирики, которая не менее немецкой поражает ваше впечатление, но зато далеко превосходит ее своею несравненной законченностью формы... **Философия истории имеет полное право вывести из этого дарования самые светлые заключения для будущности русской истории»** (подчеркнуто мною. — А. Б.) (Р. Вестфаль. О русской народной песни // Русский вестник. 1879. № 9. с. 126-127).

Я не случайно подчеркнул последние, наполненные большим историческим смыслом слова Рудольфа Вестфаля, чтобы, может быть, было особенно видно, как с угасанием народной песни в нынешнем веке с утратой в народе самого обрядово-песенного художественного дарования, как много, если не все, мы теряем и в нравственном, и в национально-историческом смысле. Конечно, ни Вестфаль, ни даже славянофилы — собиратели и исследователи народной поэзии — не могли предвидеть, что к середине следующего века новые поколения русских уже не станут петь своих отчих песен, какие до того, как уже говорилось, пелись из поколения в поколение более двадцати веков, а, не предвидя этого, делали, исходя из народной культуры, самые светлые заключения о судьбе России.

И лестную, вроде даже завышенную хвалу нашей народной песне сказал и человек-то не русский, сказал немец, словами своими как бы вольно-невольно подтвердив мысль Достоевского о том, «что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех других народов наиболее предназначено; вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина». И тут, к слову сказить, Достоевский попутно доказывает, что и гений-то Пушкина лишь тогда развернулся в полную мощь, лишь тогда стал всемирным, когда поэт всем сердцем возлюбил все русское, когда в нем, глуша праздное эпикурейство, «демонический байронизм», скитальческий, космополитический романтизм, укрепился и жарко разгорелся нравственно оздоравливающий русский патриотический дух. Если почти то же самое сказать, исходя из жизни поэта, то все прозвучит так: лишь тогда его художественный гений стал всенародным и всемирным, лишь тогда он озарил светом последней нравственной истины — прекрасным светом любви и милосердия, когда в нем во всю душу, во

все сердце зазвучал проснувшийся родимый голос старой няньки Арины Родионовны, сказывавшей ему, малому дитю, отроку, сказки и былины, певшей ему народные песни. Это ведь оттуда, из деревни, от Арины Родионовны: «Там русский дух... там Русью пахнет!»

Достоевский об этом и сказал в своей знаменитой речи на открытии памятника поэту, как возложил на Россию — хранительницу славянского духа и мировой совести — и великие надежды. «Пушкин любил все, что любил этот народ, — говорил Достоевский, — чтил все, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплотившийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его... Русский дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде. В великих, несравненных песнях будто бы западных славян, но которые суть явно порождение русского великого духа, вылилось все воззрение русского на братьев славян, вылилось все сердце русское, объявилось все мировоззрение народа, сохраняющееся и доселе в его песнях, былинах, преданиях, сказаниях, высказалось все, что любит и чтит народ, выразились его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы».

Читая речь Достоевского о Пушкине, исполненную страстной любви к русскому народу, верой и надеждой в великую будущность его как народа богоносца, как хранителя и носителя мировой совести, читая и «Дневники писателя», мы, русские люди нынешнего века, можем лишь повинно опустить глаза долу перед памятью Федора Михайловича — не исполнили великого назначения, которое предрекал писатель России, и богу ведомо исполним ли.

* * *

Вот, может быть, с того праздника в музейной деревне, называемого ныне праздником завивания русской березки (?), меня с какой-то даже злостью стало волновать отношение русской молодежи к своей родимой песне (для меня это и отношение к Родине, к России), и хотелось узнать отношение не приспособленческое — какое исходит от лукавого ума, от праздной забавы, от самой разнообразной корысти и даже, как мне чудится, от тайного разрушительного желания, — нет, конечно, хотелось прознать искренное отношение, пусть даже неприемлющее народную песню, как и сам народный дух. Приспособленчество куда страшнее откровенного неприятия, и опять же Достоевский, который, можно сказать, весь без остатка отдался своей последней идее, идее богоносности и особенной, спасительной для мира духовности русского народа, писал: «Вы даже представить не можете, какая грусть и злость охватывают всю вашу душу, когда великую идею, вами давно чтимую, подхватят неумелые и вытащат к таким же дуракам, как и сами, на улицу, и вы вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят». Так было в свое время с идеей всеславянского братского единения под духовным началом России, так было с крестьянской общинной идеей и земством, как формой внутреннего самоуправления, когда предполагалась полная воля для развития нравственных начал, выработанных нашим народом самостоятельно многими веками, так было, наконец, и с толстовской идеей «опрощения, омужичивания», возвращения просвещенного общества к земле, к почве, к природе.

Но несмотря на приспособленчество, на неумелость, тем не менее в теперешнее время в последних поколениях творческой молодежи как бы новым священным огнем загорелось патриотическое чувство, родилась жажда укрепиться в национальном самосознании, ощутить под своими ногами не горящую землю не пороховую бочку, а землю отцов и дедов, с ее тысячелетними корнями. И патриотическое чувство, настырное желание вызвать, ощутить и полюбить всем сердцем свои родовые корни, конечно, не случайны, особенно при гибнущей на глазах отечественной природе, при наших тяжких

нравственных недугах — тут я имею в виду перво-наперво ощутимую утрату божественной совести, жалости к ближнему, подмену их «сатанинским» деловым расчетом, правилами «порядочности и честности», а «порядочность и честность» — это, как в свое время мудро вывел Достоевский, еще не нравственность, поскольку «честными и порядочными» друг перед другом могут быть и тати дорожные, как и все слуги дьявола, чтобы сплоченно и целенаправленно вершить свои «сатанинские» дела. Не случайно же проснувшееся патриотическое чувство в сынах России потому, что только путем национального возрождения мы сможем возродиться и нравственно, поскольку лишь в многовековом национальном опыте жизни отстоявшиеся до полной чистоты и ясности все истинные нравственные правила, которые, кстати, и воплощены-то в поэтических обрядах, в нашем героическом эпосе, в песнях и сказках, в легендах и мифах, в наших пословицах и поговорках и даже в наших произведениях традиционного творчества. «Русский народ, — писал незадолго до смерти Василий Шукшин, — за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность (имеется в виду, надо думать, не «честность» тати дорожного. — **А. Б.**), трудолюбие, совестливость, доброту... Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку». Значит, для нашего исцеления душевного нам надо узнать и полюбить Россию, ибо, как писал Гоголь в своем вершинном по духовному осмыслению человеческого бытия произведении, в своих «Избранных местах из переписки с друзьями»: «Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев...»

И этим же путем, то есть через национальное возрождение, мы смогли бы возродить российское хозяйство и даже спасти и сохранить отечественную природу, поскольку лишь тот, кто всем сердцем сознает, что это его отчая земля, кто любит ее истинной, выверенной тысячелетиями крестьянской любовью, будет и бережно, любовно с ней обращаться. Словом, мы должны стать патриотами, взаправдашними гражданами России. «Если мы радеем о воспитании гражданина и личности, — писал Леонид Леонов в своей статье «Раздумья у старого камня», — а только на гражданина и на сознательную личность делается ставка в сегодняшних общественных переменах, — то должны глубоко осознать, что гражданин не может состояться в человеке, оторванном от корневой системы своего народа». Созвучны со словами Леонида Леонова и размышления Валентина Распутина, высказанные в очерке «Верую, верую в Родину»: «Каждое время выдвигает как первоочередные свои требования к понятию гражданина. Одна из них ныне — деятельность ради восстановления нарушенных связей с прошлым, участие в общенародном движении за сохранение полной национальной памяти. Без этого гражданственность — слепое и неполное понятие, могущее иметь уродливое развитие».

На бескорневом, оторванном от нации, каком-то «узковедомственном патриотизме» далеко не уехать — тут уж, как у свиней из евангелийской притчи, в которых вошел бес, одна дорога — дорога в пропасть, к ядерной или экологической катастрофе, поскольку под этот, не обеспеченный тысячелетним народным опытом бытия, «ведомственный патриотизм» что угодно можно подогнать и что угодно, даже самое страшное, самое кровавое, оправдать. Примеров тому в нашей новейшей истории немало: «патриотами» были заклейменные «перегибщики», по злой воле которых в тридцатые годы было основательно подорвано сельское хозяйство в России и многие миллионы крестьян, крепких хозяев, наряду с действительными кулаками-мироедами и под их же клеймом навеки разлучились с отчей землей, а потом и с жизнью; «патриотами» считались сталинские инквизиторы, «вычистившие» из народа еще многие миллионы, и дело тут, конечно же не в одном Сталине и даже, может быть, менее всего в Сталине; «новоявленными патриотами назывались те, кто, по словам Леонида Леонова, пдвергли сейсмическому опустошению русскую старину, уничтожив только в одной древней русской столице

многие сотни памятников архитектуры, а сколько по всей России?.. страшно и представить; «патриотами» изображались тысячи ученых, работников министерств и ведомств, которые вынашивали «проект века» — проект поворота северных рек, в результате которого мы бы лишились и самих великих русских рек, и земель, к ним прилегающих, и не досчитались бы еще сотни памятников отечественной культуры и истории; «патриотами», как верно подметил в одной из статей Валентин Распутин, величались в печати измыслившие и защищавшие губительный для Байкала целлюлозно-бумажный комбинат. Противники же всех этих разномастных, но единых в своем сознательном или бессознательном разрушительном устремлении «патриотов» поносились чуть ли не как враги народа, враги прогресса, хотя эти «враги» оказались на поверку не только правы, но благодаря их великому гражданскому мужеству, их доходящей до самоотречения любви к Родине не все и всегда удавалось разным «перегибщикам и поворотчикам». И примеров разрушительного в своей ложности «патриотизма» можно бы еще привести много, что вполне доказывает: на абстрактном, «космополитическом патриотизме» можно еще не так запутаться, как запутались, можно наломать еще не таких дров, каких уже наломали.

Значит, все же не случайно, не для одной душевной утехи нынешнее патриотическое движение, если, конечно, это не последняя агония смертельно раненной нации — трудно даже найти в истории человечества еще такой пример, когда бы нация за каких-то тридцать лет потеряла многие десятки миллионов своих людей от внешнего врага, и многие десятки миллионов от внутренней борьбы, когда бы нация вдруг разом отказалась от своей народной культуры и подвергла разрушению свои многовековые памятники. Нет, конечно же нынешнее патриотическое движение совершенно естественно, хотя и немного запоздало, но беда-то в том, что движение это, еще робкое, еще только охватившее просвещенный слой бщества, как бы призванного сказать, напомнить народу, что он русский народ, что он ко всему и великий народ, если верить Достоевскому, Так вот, движение это стало очерняться и шельмоваться все теми же «космополитическими патриотами». Истинно было сказано, стань вначале сам русским по духу, а потом уж вини на всех перекрестках всякого опошляющего и умаляющего нашу национальную духовность, нашу народную культуру, которая, как и всякая народная культура, более чем гениальна; то есть прежде чем винить, корить «поворотчика России», сам сперва всем сердцем возлюби отчую землю, нашу старину, воплощенную в устном слове, в древе и камне, сам сперва обрети совесть или хотя бы жгучую потребу в ней. Но мало быть совестливым и нетерпимым к социальной несправедливости, было бы опасно — это увело бы от истинных болей нации, — если бы наша молодежь замкнулась на критике социальной среды, на своем исповедальном нравственном самосуде, хотя и критикой социальной среды и еще в большей мере нравственным самосудом, по высокому божественному счету, русская литература и выделилась в прошлом веке из мировой.

Конечно, «космополитическим патриотам», «поворотчикам России» очень бы хотелось — на это и уповают, — чтобы русская творческая среда копалась бесконечно в «социальной грязи», винила за эту «грязь» один только русский народ или терзалась бы, мучилась вечно своим нравственным несовершенством, и в этом, только в этом видела бы все беды Отечества. Нет, грешно и самоубийственно забывать и о «сатанинской силе» — силе зла, принесшей уже нашей земле, нашему народу столько горя под личиной «патриотизма и прогресса». Не все же нам в своих грехах каяться и в душе своей искать все беды, не все же нам плакаться и оплевывать себя с ног до головы!.. Пора и по сторонам оглядеться, увидеть беду дальше «социальной грязи» и своего душевного неустройства, пора бы заиметь хоть немного национальной гордости.

И в этом смысле кроме приспособленцев к идее, кроме неумелых и мелких по своему порыву, только портящих саму идею, добавились и боящиеся крайностей. Но бояться-то

нечего, потому хотя бы, что зачатки национального самосознания народились лишь в небольшой кучке творческой, просвещенной среды, основная же часть народа еще не скоро, наверное, очнется от дурманного космополитического угара. А потом уже оттого нельзя бояться национального самоосознания народа, что оно, это осознание, в своем исконном, скажем, былинном виде, не искаженное на военную потребу, есть не что иное, как благоговейная любовь к ближнему, к земле, к родине и братское чувство ко всякому другому народу. Так что пугаться крайностей смешно, нелепо. Как раз по поводу «боящихся» Достоевский и сказал в «Дневнике писателя»: «Положительно есть русские люди, боящиеся даже русских успехов и руских побед. Не потому боятся они, что желают зла русским, напротив — они скорбят об всякой русской неудаче серьезно, они хорошие русские, но они боятся и удач, и побед русских — потому-де, что явится после победоносной войны самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой». Но вся ошибка этих добрых людей в том, что они всегда видели русский прогресс единственно в самооплевывании. Да самонадеянность-то нам, может быть, и всего нужнее теперь! Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевывание».

Я уже встречал в писательских кругах, среди художников-живописцов Иркутска этих действительно добрых людей, талантливых и русских по своему духу, боящихся прямо и откровенно сказать гневное и яростное слово в защиту нашего древнего Отечества и весь свой талант по-прежнему употребляющих или на показ социальных и нравственных недугов, или все на то же грустное воспевание «полей и деревень». Оно, конечно, и это все нужно, но время требует от художника, от всякого считающего себя истинным гражданином назвать и показать силу зла, несущую погибель нашей земле. Хотя верится, что и земля, и народ выстоят, как выстояли во времена монголо-татарского нашествия, во время последней войны.

* * *

К написанию этих заметок-размышлений, как я уже говорил, подвигнуло изначально раздумье о судьбе нашей народной культуры, о судьбе старинной песни, об отношении к ней новых поколений. И тут я вынужден сделать еще одно, важное для разговора отступление. Предвижу, что найдутся кабинетные ученые, некие «объективисты» или уж полные космополиты, откровенно презирающие в угоду Западу все русское, которые тут же возопят о некомпетентности автора в вопросах народной культуры, этнографии и фольклора. Это, кстати, один из самых излюбленных и удобных приемов бесчисленных «поворотчиков России». Но, к примеру, иркутянин, любящий свой старинный город, не менее архитектора компетентен в его архитектуре, даже если этот иркутянин простой дворник; крестьянин, всю жизнь отработавший на земле, не менее ученого-агронома компетентен в земле, если не больше; байкальский рыбак, весь свой век отрыбачивший на озере, вряд ли в знании Байкала и его проблем уступит какому-нибудь «ведомственному ихтиологу или биологу»; старуха-песельница, конечно же, компетентнее в народной песне, чем ученый-фольклорист. Так что обвинения неученого человека в некомпетентности в вопросах народной культуры или экологии не только безосновательны, но и вредны с точки зрения патриотизма и гражданственности, поскольку они, эти обвинения, как бы отбивают в простом человеке охоту участвовать в общественных и государственных делах, отводят ему роль слепого и глухого исполнителя некой «элитной воли». Это и дает право автору этих заметок-размышлений, прожившему в деревне около тридцати лет, когда еще на слуху были многие народные песни, когда еще живы были некоторые старинные обрядовые праздники, считать себя в известной мере компетентным в вопросах народной культуры и имеющим право размышлять о ней.

Но обратимся теперь уже прямо к нашему главному разговору... Некоторый толчок к написанию заметок-размышлений совершила одна поездка в небольшой провинциальный городок. Кажется, в первый же день командировки поведал я тамошнему газетчику, что интересуюсь здешней молодежной культу-

рой и о каком-то своеобычном, по-народному талантливом явлении мог бы написать. Брат-газетчик, смилостивившись, будучи к тому же дока в культурных делах, присоветовал не слоняться попусту, а двигать прямиком в Дом культуры и познакомиться там с вокально-инструментальным ансамблем. Этот ансамбль для городка — если не считать народный театр (народный, а почему-то ставящий чаще всего пьесы зарубежных драматургов), наипервейшая гордость, и я слышал о нем, имеющем более чем десятилетнюю историю, много лестных и вполне справедливых слов. С восторгом вспоминали, как ансамбль играл в День Победы, во время народных гуляний, играл даже под проливным дождем, за что ему самый нижайший поклон от растроганных горожан. Позже случайно прочел я в местной газете об ансамбле, где хвалилась оригинальная обработка русских народных песен. Но честно скажу, не лукавя,— и это будет главная причина, почему меня не привлек ансамбль,— не люблю я всякие оригинальные обработки старинных русских песен, какие еще так душевно, трогательно до слез поют наши старые отцы, матери в застолье; мне это всегда казалось кощунством, и даже виделся изощренный прием, каким снижалась и почти обесценивалась народная песня, особенно если ее обработали для электронных инструментов

Россия наша столетиями нежила и холила, с любовью и печалью выхаживала песенную ниву, и песня жила в душе самым дорогим, самым спасительным островком, поскольку, включенная в трудовые и праздничные обряды, освещала самые трогательные и зачастую самые переломные моменты жизни: чаду малому бабка поет колыбельные; вошел в лета — отметились в памяти, как образ юности, и песни посиделок, хороводные; когда сосватали и когда свадьба — поют песни и на сватовство, и на смотрины, и на рукобитье-сговор, и на девичник, и утром свадебного дня, и во время сборов свадебного поезда, поют тебе и величальные, и корильные песни; и даже покойному тебе и то споют песню-причеть, поплачут вопленницы. И конечно, пока ты жив, чуть бывало прослышишь какую-то обрядовую песню, напоминающую о детстве ли, о юности ли с полянками и посиделками, о замужестве-женитьбе, защемит сердце, приступят слезы от печали по навек ушедшему, от тихой, благодарной судьбе радости: было оно, было счастье в жизни, есть что, слава богу, помянуть. А уж за века песня отшлифовалась, так изукрасилась, что прибавить или убавить — все равно что погубить песню. А тут является лихой «массовик-затейник» — два прихлопа, три притопа, засучивает рукава и между делом, шутя-играючи, так перелопачивает песню, прилаживая ее к совершенно чуждым и даже враждебным электронным инструментам, что больно слушать. Неужели ж мы, новое поколение русских, не в силах душевных и слуховых принимать народную песню в ее извечном, единственно верном и прекрасном звучании? Это похоже на то, как если бы мы брезговали, не могли пить натуральное молоко — фу, сеном пахнет, русским духом отдает! — и разбавляли бы молоко водой из крана, а то и вином-клопомором. Извращение, скажите?.. Так и не мудрено, коль мы начинаем отвыкать от всего натурального в еде, в одежде, в чувствах, в отношениях между собой и, наконец, в культуре. Потому-то, наверное, большая часть молодежи и тяжело принимала первородное многоголосье в исполнении старинных песен ансамблем народной музыки Дмитрия Покровского, и благо, что ансамбль не пошел на поводу у молодого слушателя, не стал в угоду ему уродовать песни наших предков и подал их, старался подать в исконной чистоте и верности, чем и стал знаменит и почитаем истинными любителями русской песни.

Может быть, отчего же не мочь, ансамбль того провинциального городка — вокальное и музыкальное диво, и, к примеру, даже иркутские клубные и ресторанные виа ему в подметки не годятся, — все может быть, и я не хочу обижать ансамбль, но... не люблю я нынешнюю эстрадную музыку и песенки, при любых текстах ритмом своим рассчитанные на танцы-скачки, и на нелюбовь свою имею полное право, как имеет же право нынешняя русская молодежь в большинстве своем не любить собственных

народных песен, ссылаясь на полную свободу вкусов, на иные времена. Новые песни придумала жизнь, сказал один стихотворец, вольно ли, невольно ли намекая на то, что старые русские родовые пора и забыть, несмотря на то, что до этого они пелись тысячелетие. Пора-то оно пора, да вот беда, не забываются, бередят душу, печалят и радуют, как радуют и печалят родные деревни, речки и покосные луга, над которыми так и слышится, так и видится, будто вечерним белесым туманом стелется, плывет русская песня...

Тот же брат-газетчик мимоходом посоветовал и прислушаться к проблемам поселковых виа. Что ж, столкнулся я и с проблемами, прислушался, да только, как и предвидел, заключались они не в том, чтобы завлечь голосистого песельника, пение бы которого до слез пробирало душу, зажигало кровь очистительным огнем, пробуждало любовь к ближнему, — нет, нужно было выклянчить у начальства, у того же профсоюза несколько тысчонок, чтобы закупить такую мощную аппаратуру, при которой — ишь чего измыслили! — уже и петь не надо, если медведь на ухо наступил, если бог голоса не дал, — шипи, сипи, хрипи, шепчи в микрофон и ни о чем не переживай, такой усилители рев поднимут, что и чертям тошно станет, покойнички в ужасе проснутся, тараканы с потолка замертво попадают. И тебя, как обухом, электронным ревом, и тогда ты, оглохший, одуревший, обращенный в идиота, на все даже самое страшное, самое извращенное готов будешь. Это тебе только для того и поется и играется, а не затем, чтобы задушевной мелодией пробудить жалость к ближнему, любовь к земле родимой, к предкам, это тебе для того силком и подносится, чтобы вытравить из тебя, если они еще водятся, стыдливость и стеснительность — русский дух, чтобы ты во всем, даже нравственно уродливом, порочном, чуял полную волю и оправданность и не мучался раскаяньем — новое время, новые песни, а значит, и новые нравы.

Помню, парни в моей молодости, да и сам я, выпивали для храбрости, когда шли на танцы, а порой и напивались, чтобы легко и развязно чувствовать себя с девушками, чтобы природная стыдливость не мешала соблазнять, совращать, а порой и почти силком склонять к греху; так вот, если недавно наша молодая братия топила стыд, совесть в вине, то теперь вино может заменить и музыка.

Вообще, микрофон и сверхмощные усилители, конечно, дали возможность петь со сцены безголосым, а запой-ка голосистый — не ровен час и техника перегорит. Спробуй-ка запой в микрофон ранешний песельник, про которого один забайкальский сказитель так выразился (запись профессора фольклориста Л. Е. Элиасова): «Жил-был тут такой напесельник, что когда запоет, то сосны звенели, на озерах волны появлялись, даже скалы начинали трещать». Тут бы техника, поди, не то что задымилась, тут бы, однако, и взорвалась, тут бы опять природа победила науку. Но дело, конечно, не упирается в одну силу голоса — медведь на всю тайгу ревет, да ничего, кроме страха, не порождает и певцом шибко-то не назовешь; «Черный ворон», пропетый глуховатым, надтреснутым голосом, всю нашу святую Русь вынуждал кручиниться и плакать. Уж на что служивый или казак, закремневшие духом, на слезу не падкие и те прослезятся. «Черный ворон» или, к примеру, «Степь да степь кругом», именно пропетые вот такими хрипловатыми, горько и сухо, будто осенний лист, потрескивающими голосами даже больше трогали, чем исполненные оперными, мощными, играющими голосами, потому что шли из самой все это пережившей, исстрадавшейся души, не могущей и не желающей как-то приукрасить свою печаль. Но и тут голосистость, конечно, не вредила. Но это не усиление до тракторного рева сипа и хрипа, которыми так козыряют наши приблатненные «барды», это природная мощь голоса.

* * *

В связи со сверхмогучими, рвущими перепонки ушей магнитофонными усилителями вся нынешняя роковая и уголовно-блат-

-С0094-

ная музыка стала воистину казнью господней, превратилась в орудие наказания отцов детьми, в орудие насилия, истязания, от которого теперь даже на лесной даче не спрячешься. Вошел в трамвай или автобус, кто-то там уже врубил магнитофон, и хочешь, не хочешь, вынужден слушать какой-нибудь роковый «лязг и грохот железа», мучаться, страдать, лютой ненавистью ненавидеть владельца магнитофона, любителя «лязга», но слушать; слушать и слушать до отупения, до отчаянья мусорный поток звуков, подвывание и подвизгивание, скрежет, похожий на скрежет медного таза, когда им елозят по песку, отчего у тебя противно холодеет внизу живота. Потный, измочаленный, оглушенный машинным и роковым грохотом, отравленный бензинным угаром, издерганный и до отказа набитый злобой очередей и давок ступаешь в свой микрорайон в надежде хоть здесь отдышаться, успокоить нервную тряску, но тут же на твою больную и без того гудящую голову каменным градом рушится из окон девятиэтажной башни «тяжелый или чугунно-литейный рок», или, будто «пером урки в кожаной тужурке», буравит, кажется, само сердце куражливо-блатной, с хрипотцой под Высоцкого, нахальный голос, внушающий тебе что-то вроде: «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Водочка, ах, водочка...» или пугающий тебя зловеще-романтическими сценами из жизни уголовной «малины»: «За ненадобностью вам я отрежу уши...» А во дворе тем временем просто ошиваются, не зная в какую дырку себя сунуть, или играют мячом дети и подростки, и ясно, куда уж ясней, волей-неволей эта «водочка», или «ах, денежки», эта блатная, уголовная романтика прочно войдут в сознание, порождая и натаскивая очередное поколение пьяниц, наркоманов, дельцов и уголовников. Злой, как черт, бежишь в свою квартиру, чтобы хоть там укрыться от «музыкального разбоя», да только и там он тебя настигает — где-то в квартире ниже или выше этажом, слева или справа обезумевший «рокер» включает свою сверхмощную стереоаппаратуру и... хоть в гроб заживо ложись или, как говорила моя матушка, глаза и уши завяжи и в омут бежи.

Несколько лет назад жил я со своей семьей в общежитии Ангарского химического комбината, в малосемейке, как прозывали наш муравейник, битком набитый деревенскими ребятами и девчатами, бросившими родные села (богатые грибами, ягодами леса, просторы полей, озера, речушки и пока еще чистый воздух) и прибежавшими на химический комбинат, чтобы пусть даже хлором ли, аммиаком ли дышать, абы в городе жить, абы по асфальту ходить и пиво пить, абы навоз на ферме не месить. Нет, не в укор им, бросившим родные деревни, сказано это: какие уж там укоры — жалко их, бедных, и особенно девчат, которые, проработав несколько лет на комбинате, и родить-то путем не могут. Нет, совсем не в укор это говорится, поскольку дело тут сложное, и у этих девчат и ребят есть вроде бы свои законные причины, по которым они покидают деревни, и причин тех немало (то женихов нет, то невесту днем с огнем не найдешь), но не об этом сейчас речь...

Так вот, жил я тихо, мирно в малосемейке, да только на беду, на горе поселился над нашей комнатой паренек-новоженя со своей молодой женушкой, и такая пошла жизнь, что хоть помирай ложись. Как придет с работы этот новоженя, еще ничем ничего, еще не умылся, не поел, так сразу же заводит свою стереоаппаратуру, распахнув окошки настежь и выставив на подоконник колонки-усилители. То ли аппаратурой хвастал перед соседями, то ли записями, то ли все хотел нас, темных, приобщить к року и блатным песням, но только уже не жизнь у меня пошла — ад кромешный: не читать тебе, не писать, не разговаривать, не просто даже спать или о чем-то думать — только слушать и слушать, дурея, все тот же «лязг и грохот», визги и стоны, блатные куражи. Конечно, напрочь забыв о христианской смиренной любви, люто возненавидел я того паренька, и в удушливых припадках злобы, тупо глядя в раскрытую уже с полчаса на одной и той же странице толстую книгу, строил всякие злокозненные планы против своего соседа, вернее, против его стереоаппаратуры-дуры; живо — под буханье барабана — воображал как бы я из детского сада напротив расстре-

лял картечью набитые гулом и стоном колонки. Воображал... но терпел. Мы теперь терпеливы. А вот помню, когда только-только входил в моду джаз, один мой дружок по юности купил магнитофон и давай днями напролет крутить этот самый джаз. И помню, отец его, заводской грузчик, вбегал в комнату и на чем свет стоит костерил своего сынка вместе с его джазом. «Мать тя за ногу,— примерно так матерился он, ворвавшись в комнату,— опять завел свою тарахтелку. Никакого покоя. На заводе тебе — бум, бум, бум! — и тут придешь, та же песня: бум да бум!.. Счас же выруби свою тарахтелку. Выруби!.. А то дождешься, ой дождешься, парень,— грозил он темным крючковатым пальцем,— выкину... выкину в окошко. Не погляжу, что деньги стоит. Выкину к чертям собачьим. Пошто у вас какой-то путней-то музыки нету, человечьей? Нет, заведут: бум, бум, бум!.. Как сдурели, честное слово... Даже не включай при мне, выброшу, сразу выброшу, помяни мое слово...» И выбросил. Пришел однажды под хмельком, схватил этот магнитофон и шуранул в окошко. Ясное дело, «тарахтелка» в дребезги — второй этаж, внизу асфальт.

Мужик выкинул, а мне приходилось терпеть. Но потом пришла спасительная мыслишка... Я как раз купил проигрыватель и тоже с колонками, может быть, не такими горластыми, как у химического паренька, но тоже ладно орали. И в один из вечеров, когда сосед мой, выставив на подоконник колонки, включил свой «лязг и грохот железа», я тут же приладил к распахнутому окошку свои колонки и завел пластинку, кажется, хор имени Пятницкого, который и я в тот год как раз для себя и открыл. Вот и пошли мы воевать с тем пареньком: он мне — рок, я ему «Ах ты степь широкая...» или «Вечерок вечерается...»; он мне — блатные, уголовные, я ему тут же — Шаляпина (имелась у меня тогда одна пластинка русского певца) или Русланову, или уж Штоколова, Соловьяненко, а то и наигрыши великолепного русского музыканта, чудо-гармониста Сергея Привалова: «Ах вы, сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые...» Так мы с ним и воевали, и я иногда представлял, как русская песня, русская музыка схватываются над нашей русской землей с заморским похабным воем, и песня русская хоть и не может уже побороть заморский вой, но и не отступается.

Как-то раз встретились мы с тем пареньком на лестнице — мы знали друг друга в лицо — и он, светлокудрый, голубоглазый, еще на вид по-деревенски неотесанный, посмотрел на меня, как на дурака, но ничего не сказал, хотя, судя по раздраженному взгляду, ему, наверно, хотелось сказать: кончай ты, парень, крутить всякую муру.

Нет, от нынешней «эстрадной чумы», как я уже говорил, не спрятаться даже где-нибудь на лесной даче. Чего далеко за примером ходить... Летом восемьдесят шестого года довелось мне жить при архитектурно-этнографическом музее, то есть в «сибирской деревне», о которой уже был разговор в начале заметок. И вот, бывало, пойдешь в лес те же грибы посмотреть, а то и просто побродить в тенистой и прохладной тиши березняков, присядешь на валежину перекурить, и вдруг будто с неба, будто под дирижерскую палочку самого сатаны с треском и грохотом разорвет тишину истерический крик какой-нибудь эстрадной «звезды», и ты проклянешь весь белый свет. В первый раз, когда на меня вот так же в лесу каменным обвалом посыпался «лязг и грохот», стоял я, злой, обалделый, и гадал: откуда этот «эстрадный рев»? Потом уж дознался, что километрах в двух от музейной деревни разместился детский спортивно-оздоровительный лагерь, откуда и разносилась километров на пять окрест эстрадная «музыка». И приходилось мне в моем жилище, где я тогда уже начал писать эти заметки, наглухо закрывать окна и двери, чтобы хоть немного приглушить «дикие концерты». Оно, правда, немного и получалось, потому что «музыка» вроде бы и стены прошибала, и я, сам того не замечая, иногда как-то сонно и отупело начинал подпевать. И жалко было бедных пионеров или, как их называл тутошний старик, юных пенсионеров: приехали среди тишины и красоты приангарских березняков хоть немного одыбать от городского шума и грохота, успокоить расстроенные нервы, а им день-деньской напро-

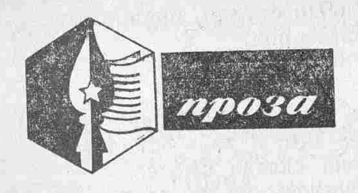
лет все те ро́ковые взрывы и раскаты или — не детским бы ушам слушать — задышливые вопли: «А ты такой холодный, как айсберг в океане...» или, опять же не пионерское, надсадно-хриплое: «Помню, Клавка была и подруга при ней, целовался на кухне с обоими...» Я все переживал, вот, думал, дети-то страдают, но, как потом опять же дознался, многие из этих «юных пенсионеров» уже просто не могли переносить тишины, и походили на человека, всю жизнь отработавшего на химическом заводе, который, оказавшись на чистом лесном воздухе, чуть ли не падает в обморок и лезет к выхлопной трубе машины, чтобы хоть немного глотнуть спасительного смрада. Это, конечно, шутка, но, как говорится, во всякой шутке есть и доля правды. Да, они уже боялись тишины, как огня, как будто боялись в этой тишине невольно задуматься о своей судьбе...

Страдал от той «музыки», кажется, один сторож лагеря и как-то в разговоре со мной жаловался: дескать, никакого житья нету от этого проклятого колокола — так он называл усилитель, который и разгонял «музыку» окрест себя на несколько километров,— целый день орет, оглашенный, прямо голова раскалывается пополам. Жена так с завязанной головой и ходит. Ходит да стонет, да таблетки поедом ест... Я, конечно, посочувствовал сторожу; если за пять километров слышно как будто у тебя под ухом завели музыкальный «ящик», то каково же ему приходится и его семейству, живущим как раз под этим треклятым колоколом.

Потом жаловались и работники музея: туристы, приезжающие со всего белого света в «сибирскую деревню», чтобы познакомиться с русской сибирской стариной, послушать о мире и ладе, о поэтичности крестьянского жизненного уклада, вынуждены были вместо этого волей-неволей слушать «музыкальный мусор», какого до отрыжки наслушались и у себя дома, по городам и весям.

В следующем, восемьдесят седьмом году, на спортивно-оздоровительном лагере, видимо, вняв жалобам музейных работников, умерили музыкальный пыл. Но ведь лагерь — это лишь типичный пример, поскольку эстрадное насилие сплошь и рядом: в пионерских лагерях и на турбазах, в поездах и на пароходах, в ресторанах и кафе, и нет такого закона, какой бы нас оградил от этого разрушающего дух и тело «музыкального» истязания. Кажется, уже и в детских садах и яслях, словно боясь опоздать, приобщают детей к эстраде, и, помню, одна ясельная девчушка, дочь моих знакомых, еще лепечущая на своем детском языке, еще ни одного слова ладно не умеющая сказать, тем не менее как-то, придя из яслей, пропела: «А ты такой холодный, как айсберг в океане...» Родители чуть не померли от восторга, и мне, честно признаться, было смешно, когда она лепетала про «холодного жениха», но потом стало страшно, будто девчушечку, еще ангела чистого, уже коснулся порок.

(Окончание в следующем номере)



Алексей ***ЗВЕРЕВ***

ЗАЛОГИ*

Детство деревенского мальчишки

ПОВЕСТЬ

Человека, как залоги, поднимать надо.
Присловица

Кирька сидит на крутоспинном сундуке и глядит на Митьку, красненького, безразличного ко всему, и слышит в себе рождение смутной радости. Кирька боится дотронуться до румяно-красных ручек и ножек брата.

Кирьке три года, он баловень. Пока ему достаются поцелуи от сестер, ласковые заигрывания братьев. Еще его схватывают с пола и пичкают в руках. И вот теперь Митька. Кирька не знает по малости, что скоро ласки, улыбки, восторги перейдут к младшему брату. Митьку и сейчас ласково называют — заскребушек. Как помнить стал, Кирька видел в избе не отца и мать, а горбатую старуху, подвижную, шумную и сердитую, и старика лысого, спокойного, говорливого, громко и продолжительно хохочущего, спящего и лежащего на курятнике. Скоро пришел к Кирьке памятный материн шлепок. Она отдернула его от печки и крепко хлопнула по заднице. Кирька залился в слезах. До того ему странно и обидно, что отходит он от внимания взрослых. Он зевает на всех, попадает на глаза, повторяет старые проделки — его не видят. Он удивлен, огорчен, а тут еще мать дала шлепок. Отец увел его в переднюю и уложил с собой на длинный деревянный диван, что стоял у русской печки. Должно быть, Кирька так рад был ласке отца, что запомнил колючую бороду, щекотавшую его, запомнил дыхание его и длинную складную сказку. С этих дней Кирька стал видеть на «бруске» таинственные и недоступные ему книги. Отцова сказка успокоила Кирьку, повела его по двору, вывела за ворота, и стали открываться ему дали родной улицы. Отец рассказывал, как пел, таинственно и доверительно, складно подгоняя строчку к строчке, и казалось Кирьке, что все свершается тут, рядом, в их семье, в которой только и слышались слова — хлеб, поле, скотина.

Братья сеяли пшеницу
И возили в град-столицу...

Тут, рядом, Кирьке казалось, есть где-то своя столица, куда ездили домашние то с луком, то с картошкой и привозили ему пряник, коня сусального, рыбукету и делили ее по маленькому кусочку. Сказка текла и текла, мать у печки гремела клюкой, брякала посудой, ворчала, отец пел сказку, и Кирька вовсе успокоенный, завороженный, согретый печкой и теплым дыханием отца, уснул.

---

* З а л о́ г и — новина́, раскорчеванная для пашни тайга (*сиб.*).

* * *

Кирьке казалось, что семья их живет давно. Есть в ней выросшие и отлетевшие, есть и ровесники, которых называют внуками и внучками. Приезжают они редко из той «град-столицы» нарядные, обихоженные, и Кирька среди них — второй сорт. Но их приезд приносил праздник. А раз пришел и самый тревожный, а может, самый печальный и сумрачный день в жизни Кирьки — «убежала» из дома сестра Прасковья. Кирька помнил, как дверь распахнулась и хлынула стужа и как стужа развеялась. У порога стояли два человека: один в плисовой теплой куртке и в длинной черной юбке — это сестра Паша, другой — небольшенький паренек в шубе до полу и в черной папахе. Оттого, что папаха была большая, как воронье гнездо, лицо парня казалось маленьким, детским. Паша сразу же пошла к Кирьке, стоящему на скамейке подле промерзшего окна, и стала ласкаться, целовать его и таким путем сглаживать свою вину перед родителями. Она клала Кирькину голову к себе на плечо и плакала. В этот миг и раздался тяжелый, гнетущий плач матери, он послышался с печки. Наверное, мать знала о беде, довольно наплакалась, и плач этот был хрипатый, натужный. Вой матери обеспокоил отца, он продергивал сквозь «обуток» постеганку и, должно быть, колол палец. Он пытался разгорячиться, разойтись — не получалось. Он только заикался, крякал, перекидывал в руках чирок.

— Эко! А! Вон как! А! — только и мог сказать отец и все метал и метал на пришедших встревоженный и короткий взгляд. Может, он был догадливее матери, понимал, что парень Санька из порядочной семьи, что зовут парня «ломотой», но все пройдет со временем, обломается. Мать не унималась. Стоны и охи ее разносились по избе, она набросилась на отца, у которого в такую грозную минуту ничего и не нашлось сказать, кроме «вон как», кляла дочь и новоявленного зятя, наконец, упала на подушку и захрипела, вроде что-то с ней поделалось. Прибежала бабка Груня-повитушка, лекарка от всех болезней, пошептала на рюмку и подала ее матери. Мать выпила и запричитала с новой силой, и тогда Санька-зять, робко ступая, пошел за печь и робко же заговорил:

— Ну ладно, мама, что поделаешь теперь.

— Какая я тебе мать! Пошел из дому, варначище. Вот я тебя клюкой!

Тогда Санька сказал смелее:

— Что случилось, не вернешь. Давай, Паша, рюмки.

Первую рюмку поднес отцу. Тот ломаться не стал, но и не сказал ничего, молча выпил и перекрестился. Материна рюмка полетела на пол и разбилась — так она отпихнула руку зятя. Только и оставалось ему покачать головой, отшмыгнуть к двери и гневно и сипло сказать:

— Пошли, Паша, после придем.

— Ни шагу к нам! Ни глазом ни дыхом! — крикнула мать вослед.

* * *

Еще одна памятка засела в Кирькину голову. В раннюю, вешнюю пору Кирька выскочил на улицу по нужде и бежал уже в избу, как подхватил его на руки отец, поднял высоко и посадил на Серка. Глянул Кирька вниз — и закружилась голова — такая высь! Но отец был рядом.

— Усидишь?

Кирька боялся, страх перехватил горло, но и радость необыкновенная охватила его, крылья что ли какие приклеились к нему? Он только помотал головой в знак уверения и замер на «вершной», уцепившись в клок гривы. На дворе было сыро и холодно, но от коня шло тепло, шли теплые ласковые запахи, конь стоял как вкопанный, тихий, покойный, и даже не повел головой, кто сел на него. Дикий восторг вошел тогда в Кирькину малую душу. До того ему хватало глядеть сквозь стекло и звать к окну старого Серка. Конь слышал его, ничего не ждал от малыша и отворачивался. А тут — вот она — грива, спина и так далеко под Кирькой сырой двор, и если что случится, он может шлепнуться в грязь. Кирька сжимался, холодел от страха и от стужи. На нем чирчишки, надернутые на босу ногу, тонкая рубашонка и такие же тонкие штанишки, он дрожит и пуще вцепляется в гриву. А тут еще конь переступил и колыхнулся,

надулся и встряхнулся всем телом. Такая дрожь прокатилась по коню трижды, что Кирька рот разинул и хотел уж кричать, да тут опять подошел отец.

— Ну хватит, поди, паря.

— Ппо-го-дди, тятя, — просил Кирька застывшими губами.

— Да уж куда годить — возжа-то вон из носа.

И снял Кирьку с коня, вознес легко на руках, поставил на землю и подшлепнул по заднюхе. Кирька понесся в избу, подвинувшийся в жизни вперед, едва открыл дверь и крикнул во все горло:

— Мама! Я на Серке сидел!

— Видала. Молодец! Не ори только — Митька спит.

* * *

И вот тепло на улице. Какой-то праздник, что ли! Подле лавочки отцовой — веселый народ. Кирьке охота попасть в лавочку, да не пробьется, отстраняют его, отталкивают. Наконец, он видит отца, с лица красного, поспешного, суетного, вовсе другого. Он отгорожен от людей высоким столом. К нему тянутся руки, и он снимает с полок топоры, гвозди, подковы, бутылки. В лавочке так много мух, что они лезут в рот, бегают по рукам людей, облепили полки, особо много их подле окна, где стоит кадка с патокой. Кирьке не дотянуться до отца, но кто-то подхватывает его на руки.

— Твой, Прокопий?

— Дак... это ты зачем же тут? Ай-яй-яй! На-ка вот и марш отсель.

Отец сыпнул щепотку кедровых орехов, сколь могло войти в малую горсть, и Кирька побежал, радостный. А так много люду, так много праздника, солнца, веселья. Мать сидит на бревнышке, а на руках у нее маленький Митька. Щелкать орехи Кирька не умеет. Что он делал с ними, только кончилось тем, что в носу оказалась орешина. Кирька заорал так, что мать переполошилась, отдала кому-то на руки Митьку и заохала, закружилась подле непутного:

— Вот непутный! Да как тебя угораздило! Да чо же делать-то?!

И давила Кирьке нос, загоняла орешину дальше. Кто-то крикнул:

— Тетку Феклу Клестову зовите. Она все может.

Тетка Фекла, грудастая, говорливая и, видать, хмельная, тут же подбежала, заглянула Кирьке в нос, посмеялась и, махнув рукой, полезла себе в карман. Из плоской железной банки она взяла щепот табаку и сунула Кирьке в нос. И вот зачихал, зачихал мальчонка, и орешина выскочила. Все дивились Феклиной смекалке, сама она смеялась простодушно, открыто, вольно.

А Кирька стал непутным. Ему казалось, что его все больше не замечают, он все больше становится частью «орды», уходит в слово «ребятишки», каким мать объединяет всех, кто старше Митьки. Он, как и другие, когда попадался под руку матери, получал толчок, она на это была скорая. На своем пути она расчищала дорогу, отталкивала, рычала.

— Не застуй! Э, холерный! Да отойди-ка ты!

Бойко, на диво споровисто она управляла избой, «набивала» ребят, будила и укладывала спать, рассовывала по работам. И все вприбежку, все сердито. Ее маленькие черные глаза-бусинки были колючи, напряжены, ищущи. Под руку ей попадался сам отец — она и его отталкивала локтем.

— И этот толчется. И этот не найдет дела.

— Разбушевалась Ангара, — добродушно говорил отец и уходил под сарай, к топору с чуркой, долго поглядывал на чердак, на свалку разных заготовок, что-то соображая, крякал и приступал колоть дрова.

Такая полоса пришла к Кирьке, что был он без дел и без внимания. Приходили соседские девки и парни и занимались Митькой, бодали его козой, прижимали к себе, подбрасывали к потолку, хохотали над его выходками, и Кирька завидовал, жалел свое прошлое и выскакивал вдруг проделать то, о чем просили Митьку. Но Кирька уже был ненадобен, неинтересен, его отстраняли рукой и глядели мимо него на Митьку.

О, как Кирька страдал от этой забытости. И, видимо, проверить, есть ли его место в семье, спрятался раз под кровать, долго ждал, позовут ли его к столу. Гремели ложки, слышался поспешный швырк, обдували горячую лапшу и молчали. Был строгий порядок — за сто-

лом молчать. А Кирька ждал — вот мать хватится: где Кирька, пойдет искать его, за руку выволочет из-под кровати и даст шлепка — пусть, только поднялась бы, огляделась и сказала: «А где у нас Кирька». За столом шло фырканье, семья «набивалась», никто Кирьку не вспомнил. Тут заплакал Митька, и мать заворковала:

— У, ти мой холесенькой!

Совсем, совсем недавно так мать обращалась к Кирьке. Ему хотелось плакать, вот-вот он завоет, так вот и наполняется душа болью, но удерживал стыд и какое-то новое здравое раздумье — надо ли? Не будет ли всем смешно от поступка его? Да и съедят, съедят ведь без него всю лапшу. Вылез из-под кровати, вышел на кухню и стоял, царапая брюхо.

— Да это откуда он, не за дровами ли ездил? — засмеялся отец.

— Ты пошто не за столом-то? А я и не хвачусь. Видать, уснул где-то, — сказала мать.

— Чуть не проспал лапшу. Садись скорей, — позвал отец.

Как-то стало сразу хорошо, по подстолью Кирька пробрался к своему месту и поспешно пошел глотать лапшу.

Скоро Кирька почувствовал пользу от того, что его забыли. Он мог залезть на печь и заснуть, за печкой из щелей мог вытаскивать тараканов и заставлять их возить «бревна» — воткнутую соломинку. Мог сидеть перед курятником и дразнить петуха, получая крепкий клевок, и не заплакать, а лишь поморщиться, потому что на плач никак не ответят и не скажут: «Ой, ты мой холесенький», а то еще отдернут от курятника. В такую, видно, пору самостоятельности раз Кирька оказался на улице, подпоясанный, в шапке брати Тишки, в варежках брати Андрейки, с «деревяшкой» на ноге и в компании соседского ровесника Кости. Они не умели кататься, то и дело падали на лед, покрытый мелким куржаком, хохотали и толкались и вот уже решили, не укатиться ли к той горе. Там парила незамерзшая река. Согнувшись от усиленного подталкивания свободной ногой, покатились по молодому льду, въехали в туман и потеряли деревню, все вокруг исчезло, словно они опустились на дно реки. Испугались и собрались было плакать, да их позвало мычание коров. Потом и деревня открылась, и Костин дом на горе, и они ринулись прямиком к нему, да и попали в промывину. Ладно было мелко, они сами же и выкарабкались и побежали в Костин дом. Костин батя раздел их донага, затолкал на печь и давай растирать того и другого самогонкой. Скоро прибежала Кирькина мать, она тянулась руками на печь, грозилась отдубасить непутного.

— Варначище! Варначище! — кричала она и плакала.

— Ну, Марфа, ну, какие они варнаки. Ну, провалились. С кем не бывает такого. Живы, и ладно.

А Кирьке было боязно и радостно оттого, что мать любит его, не любя, зачем бы ей грозиться и плакать.

— Завертелась, закружилась с имя. Митька малый на руках, — мать грузно присела на скамью и горько заплакала.

Потом Кирьку долго дразнили зимним пловцом, а дома как-то заново стали замечать, всю зиму не выпускали на улицу, дергали от дверей и называли непутным.

* * *

Это, должно быть, была другая зима, и принесла она ужасы и страхи всей деревне. Ходили страхи из избы в избу, и казалось, висели над ними грозным мороком. Кирьке чудилось, что на кладбище, в близкой чаще, на льдах реки и даже на улицах села затаились страшные варнаки, скоро они явятся в избу и крикнут: «А ну, кто тут живет, выходи на мороз!» А Митьку и его покладут в мешок и утащат в лес. Какая-то тоска угнездилась в его малом сердце, он прислушивался к каждому новому слову взрослых: дружина, отряд, винтовка, пулемет. Особенно таинственным и пугающим было слово — Каппель. Каппель, Каппель, Каппель — колотилось слово в голове и надвигалось бураном ли, черными тучами, тьмой вековечной. Даже стихи, выученные Андрейкой в школе и перенятые Кирькой, казались ему страшными и грозящими бедой.

Теплое и ласковое слово «капля» потеряло вдруг свое прежняя значение и стояло теперь рядом с этим ужасным словом, и сами стихи вызывали трепет.

Капля дождевая говорит другим:
«Что же мы в окошко громко так стучим?»

Вовсе не лето, не тепло — озноб какой-то веял от этих строчек и не дождевые капли, вот-вот застучат в окно страшные пришельцы, и уж где-то они близко — об этом только говорят семейные и соседи: Капля-Каппель, Капля-Каппель, куда бы деваться, где спастись от этих невыносимых слов, от этих страхов?

— В Гуряк надо бежать, — говорил отец.

— В Куяшино, подальше надо, — говорила мать.

И все легли спать этой ночью подпоясанными, в шубенках и катанках, и все ждали, прислушивались — вот-вот кто-то брякнет в окно. Катанки давили ноги, веревочная подпояска мешала Кирьке дышать, Тишка и Андрейка сдавили его, в середке лежащего, и спал ли он, все лез в голову седой бородатый старик по имени Каппель и все спрашивал его: «Ты еще здесь, ты еще здесь?» Старик шел во двор, подходил к крутой горке шевяков и громко и страшно хохотал: «Э! Вот вы куда попрятали добро свое. Шевячков насыпали на подвал, а в подвале хлеб, картошка, машина зингеровская!»

Темным утром прибежал Миша Топтуха, отцов племянник, и разбудил семью. Раньше он всегда приносил веселье, както лихо рассказывал о своих легких бедах. Была у него особая, на смешной лад построенная речь, умел он смягчить грубую брань, и получалось то же да не так — сходнее, поприглянее.

— Дядя Проня! Лови ее! — кричал Миша громко. — Овса коням дай! Будь начеку кажнную минуту. А как ты ребятишек повезешь? Мороз трещит.

— Я их в конверт сбросаю, — отвечал отец.

— В какой еще конверт? — выпучил глаза Миша, но тут же забыл, о чем спросил, и в дверях еще раз напомнил:— Начеку. Слышь?

Все разом поднялись. Мать металась по избе, все ли припрятали от супостата, увидела квашню и сито, схватила их и унесла на чердак. А тут вновь кто-то зазыкался в ставень, послышался голос того же Топтухи:

— Дядя Проня! Мать вашу лови. Войска на льду! Вот-вот в деревне Колчак будет. Полдеревни убежало!

Отец мигом запряг коня, зашел в избу, и тут бросилась на его грудь мать и запричитала, как по покойнику.

— Ой, Проня, Проня, дак как же ты тут один останешься. Дак что бы не сделали с тобой супостаты! Не заедайся, молчи и молчи, угождай им, подлецам.

— Ничего, мать, со мной не стрясется, — дрожащим голосом ответил отец.

— Бросил бы все да и убегал с нам,— стонала мать и сама же себе перечила:— И бросить ведь никак нельзя, наказанье да и только. Дом, кабы не сожгли, коровенку, кабы не зарезали. Да и всего не спрячешь, не схоронишь.

Никто из детей не видел ранее, чтобы мать трижды поцеловала отца, перекрестила его. Она тут же торопливо и серьезно захозяйничала:

— Печку протапливай, Проня. Шевяки во дворе убирай да все в одну эту самую кучку, ну, ты знаешь. Кур не забудь кормить, да ведь сожрут их эти мошенники проклятые.

А на улице уж кричал Топтуха:

— Долго вы копаться будете!

Тут больно сжалось сердце Кирькино. А вот и у Тимки с Андрейкой навернулись слезы, неотрывно они глядели на отца, и Кирьку вдруг постигло рыдание. Один Митька ничего не понимал, закутанный в одеяльце и прижатый матерью к груди. Отец похлопал ребятишек по плечам, открыл дверь — и все утонули во мраке и холоде. Перед крыльцом стояли широкие сани, большое одеяло было раскинуто на них. Детишки угнездились на середке и отец запечатал их в конверт, накинув на них все четыре угла одеяла. Сани зашевелились, а мать все наказывала:

— Картошку, отец, не заморозь. Останемся без еды. Да не давай им ничего, иродам. Ну бог с тобой, спаси тебя Христос. Понужай, Надька!

Где-то посереди села ахнул снаряд. Вокруг саней забегали, засуетились. Сестра Надя тонким голоском завыла, занукала, хлопнула по коню вожжами, сани заскрипели, зазыбались бойчей, захрумкали по накату подковы Серка, почуя-

лись опасные раскаты, и ребятишки схватились друг за друга.

Кто-то громко и надрывно закричал, кто-то злобно обругал коня, отводина зацепилась за чью-то отводину, и оборвался скрип упряжи и полозьев.

— Что такое? — взмолилась мать, — что стряслось?

Кирька жмется к братьям: не супостат ли, не старик ли тот, не Каппель ли задержал их, огромный страшный с семью ружьями в руках.

— Да что там такое? Какая опеть оказия? — спрашивает Мишу сестра.

— У Ваньки Ширяева Лысанко распрягся, — отвечает Топтуха.

К радости всех обоз зашевелился. Сани выпорхались из сугроба, бойко заскользили и зараскатывались. Во въезде в Гуряк опять шарахнул снаряд, казалось, совсем близко. Сквозь ватное одеяло будто ударили снежным комом, а в щелку прокрался блеск огня.

— Ой, не убило ли кого! — вскрикнула мать.

— Да не-е-ет, — успокаивающе тянет Миша, — вон где, в овраге.

Сани покачались немного, поскрипели и остановились. На дворе рассветало. Перед глазами — чужой дом. Широконосый мужик схватил Кирьку под мышку и занес в избу. В ней тепло, чисто, пахнет свежим хлебом. Мать тут же приступила отабориваться: заносила узлы, мешки, постеленку, горшки и черепки. Уже и самовар на столе шумит, и хлеб большими ломтями нарезан, и воропок печеной картошки накатан в загнетке, и пахнет, и манит, будто не едали никогда. Белые снега за окном наливаются светом. Но вот новый взрыв потрясает избу и заставляет вскочить с места, испуганно и безнадежно взглянуть друг на друга. За взрывом другой, третий.

— У церкви, не близко, — успокаивает хозяин дома.

— Это что же такое, сват! — всплеснула мать руками и схватила полушалок.

— Одевайтесь! Отец что сказал: бегите дальше, коли что... Нет, сват, спасибо, а мы дальше, в Куяшино.

— Да хоть детишек покормите, — приглашает хозяин.

— Не оголодались, потерпять. Давайте-ка всю мунишку в сани.

Хозяйка дома сунула ребятишкам по ломтю хлеба, и их опять запечатали в холодное одеяло. В чужом Куяшино Кирька идет с матерью за руку. Не было ранее такого. Словно боится мать, не потерялся бы, не заблудился бы парнишка в этом дальнем таежном углу. Такая тишина вокруг! Лишь вороны кружатся над снежным лесом. Скрип снега под ногами, кажется, слышен в каждой избе, ударяется в стены, в ворота. А мать пожимает Кирькину руку, греет ее в своей горячей руке, и Кирька словно обжигается о материну ласку, понимает, что и ей тут тоскливо, думы ее далеко, в родном теплом гнездышке. А мать, и верно, тяжело вздохнула и жалобно как бы пропела:

— Отец-то наш о-ё-ёй!

И Кирька вдруг отважился:

— Да мама! Может, все хорошо будет.

— Дай-то бог, дай бог, — как-то тут же согласилась мать и крепко пожала Кирькину руку.

— А мы ведь недолго тут будем жить? — спрашивает Кирька.

— Да хоть завтра бы домой, — упавшим, слабым голосом отвечает мать.

— А там сейчас что?

— Война, поди, идет, Киря.

— Этот самый Каппель, мама?

— Он, — коротко отвечает мать и прижимает Кирьку к себе.

В чужой и теплой избе веселый старик с насмешливыми глазами качает Митьку на ноге и поет хрипато:

Митька хороший,
Митька пригожий,
Митька разбойник,
Митька засра... ой!

Митька у старика «прекрасный», «спокойный», «дурашный». Митька ждет последнее слово, он знает его значение и, как только послышится громкое «ой», протестует шумно и капризно, что и надо старику. Он хохочет по-детски, восторженно, и они с ребенком создают в избе веселый шум.

— Ну что, ну что я такого сказал? — оправдывался перед ребенком старик и вновь усаживал Митьку на ногу.

* * *

Неделю семья жила в изгнании. Но вот и пришла весточка — вражины ушли. С рекоставом улетели сильные морозы, и Кирька высунул нос, когда Надя воскликнула:

— Вот и наша деревня!

Низкое чистое солнце стрельнуло в глаза. Река утопила и заморозила все острова, на великом просторе разметнулась головокружительная белизна, и сама деревня словно спряталась под белые крыши свои. Но первый же дом удивил Кирьку полыми пустыми окнами, распахнутыми дверями и воротами.

— Зима же, мама, что они придумали! — пропищал Кирька. Ему никто не ответил, мать лишь озирала улочку, качала в отчаянности головой, сгибалась и разгибалась, как бы кланялась, и, пораженная, хлопала руками:

— Ой, что они наделали, что натворили!

— Вот гады, вот гады! — шептал Андрейка, приподнявшись на колени.

Кирька вылез из одеяла и тоже стал на колени, а Тишка вскочил на ноги. Серко шел тихо и устало, и все прядал ушами, словно и он учуял что-то неладное, затем остановился. На дороге лежала запорошенная снегом лошадь. Пошли черные кострища на снегу, подле которых валялись скотские брюшины. А вот и пепелища трех домов, сено и солома, разбросанные по всей улице. Дорогу пересекла собака с бараньей головой в зубах. Редкие вернувшиеся люди копошились подле своих изб. Открылась знакомая росстань и дом, который сперва показался не своим: полы ворот лежали сорванными и оттащенными в сторону. У колодца не было цепни и болтался один шест. Стекла выхлестаны, двери расхлобыстаны, пол прожжен, видно, разжигали на нем костер с непонятной надобностью. На дворе у конуры лежал пристреленный Полкан, а вокруг рассыпанные зерна пшеницы, ржи, овса.

— Да где же отец-то? Проня! Проня! Где-ка ты! — встревожилась, заохала мать и протянула кому-то невидимому руки, — да уж живой ли?

И враз заголосили они с Надей, а ребятишки в молчании повесили головы. Вовремя зашел во двор деда Митя — сосед.

— Ты, Марфа, не реви. Проньку с Гнедком в обоз взяли. Ну, живой он, вернется ковбыть. «Ждут пусть меня», — сказал. — А корова и телка на заимке.

Марфа как-то сразу и унялась, давай расталкивать детишек по делам.

— Ты, Андрейка, дров припасай, ты, Надька, избу подметай. Ты, Тишка, гвоздей разыщи да окна потниками забьем. А ты, Киря, в подполье лезь да картошки, какая ни есть, нагреби.

Кирька тут же полез в подполье, по всем углам пошарился, насобирал с котелок.

— Паршивцы! — ворчала мать. — На картошку эти злыдни позарились. Детишек голодных оставили. Это они что, нелюди, что ли?

Когда в избе стало не так знобко от натопленной русской и железной печки и от съеденной сладкой мороженой картошки, мать вышла во двор и долго глядела на кучу навоза, обглядывала, обшаривала ее и потом стукнула в окно.

— Тишка, Андрейка, давайте-ка сюда.

Ребятишки разгребали лопатами кучу, остальные ждали, когда появится подвальная крышка. Тут мать перекрестилась и открыла ее, приговаривая:

— От супостата берегись, от соседа тоже берегись.

Спустилась в подполье и долго не показывалась. Доносилось гуканье досок, слабый блеск лучины. Вылезла и перекрестилась, ничем не выражая успокоенности или тревоги.

— Ну как там, мама? — спросила Надя.

— Ничо, ничо, — ответила она уклончиво, прикрывая за собой крышку.

— Да все ли ладно-то, говори?

— Да кто знат... Быдто...

— А машинка? — спросил невпопад Кирька.

— Да ты что, шить собрался? — буркнула мать, и все облегченно вздохнули: мать пошутила, все ладно, все сбережено, что береглось. А главное сбережение было — жизнь напрок: семена пшеницы, овса и ржи. Чтобы зерно не

затхнулось, братья ведрами вытаскивали его из подвала и сыпали в амбар, крадучись, ночью, побаиваясь соседей. Андрейка, был он нынче старший из мужиков, сказал по-хозяйски:

— Ну ладно, от белых опасли, а как красные придут и зорить будут?

— Да, поди, оне лучше этих варваров, — сказала мать.

— Мы почем знаем? Надо обратно в подвал таскать.

— Да ты чо же, Андрейка, задним-то умом живешь?

— Лучше в подполье, — сказала Надя.

— Не в подполье, не в погреб. Надо прятать семена на амбар, — резонно сказал Андрейка. — Там, правда, мыши. Да много ли они съедят?

Стали гадать, стоя перед амбаром глухой ночью, куда девать надежду на будущую жизнь, семена: закопать в землю, зарыть на гумне в солому, на заимку ли увезти — все было опасно и ненадежно. Решили сделать по-Андрейкиному, на амбар, и завалить там добро старыми колесами, осями, заготовками — разным хозяйским хламом.

Стаскали зерно в полумешках на амбар, мать подманила всех поближе и шепотом угрозно сказала:

— Чтобы ни одна собака не знала. Если эта беда придет — говори, пропали. Все слышали?

— Да что ты, мама, говоришь, — единым шепотом ответили ребятишки.

— Ну, спаси нас господь бог!

Какое уж тут сказать кому — дыхание-то удерживали, когда случалось проходить мимо амбара.

* * *

Вся деревня неделю ложилась спать подпоясанными. Бояркины день и ночь сидели с закрытыми ставнями и прислушивались к улице, не едет ли, не идет ли кто, не брякнули ли ворота, не лезет ли кто через забор? Шибко и за работу не брались, так лишь дров нарубить да печку истопить, ровно ждали какого-то нового пути. От безделья и от неопределенности люди ходили друг к другу и рассказывали о своих потерях.

Заводили разговор и об отце. Если он не вывернется — утащат его с собой за Байкал, а там в Монголию или в Китай, а оттуда мало кто возвращался. Мать начинала плакать, ребятишки приутихали, но голос возвышал Миша Топтуха.

— Да вы что, дядю не знаете! Дядя Проня, поди, уже открутился от них, где-нибудь с такими же, как он, в тайге прячется. Да вы что? Дядя Проня к таким детям, к такой бабе не вернется? Да вы что, лови вашу...

И опять все мужики заговорили, что Прокопий от земли, от хозяйства, от реки, которую он ни на какие другие не променяет — от этого всего не отступится и через месяц, гляди, к весне дома окажется.

Вернулся отец неожиданно. От каждого стука и бряка на улице вскакивала семья, а этот раз, то ли утомились от ожидания, то ли наработались днем на пилке дров, утром проснулись — увидели отца лежащим на курятнике с замкнутыми за голову руками. Стал он худеньким, маленьким, с острым личиком, обросший седеющей бородой, но был радостный и веселый от возвращения. Пришли мужики поговорить. Отец выдергивал руки из-под головы, размахивал ими и совал их обратно, но с курятника так и не поднялся — видно, шибко стосковался по нем. Перед курятником, в котором сидела одна курица (как уж она сбереглась), стояли чужие валенки — черный и белый. Отца спрашивали, как ему удалось вернуться, какие муки он испытал, куда ушла эта орда великая — он отвечал односложно, отмыкивался, отмахивался. Спросили и о валенках, почему они разные, и отец громко расхохотался, оживился и принялся рассказывать о них, словно затем и не был месяц, чтобы привезти рассказ о валенках.

— Ой и смеху с этими валенками. Только доехали до Глазкова, подошел ко мне солдат: «Давай, мужик, меняться валенками. Гляди, какие добрые у меня?» Ну, валенки, правда, добрые, крепкие, но с моими не сравнишь. Мои поярковые, уральские пимы. Обзарился, видать, солдат, теперь уж с ним не сладишь, я и говорю: «А какая будет придача? Может, есть у те надевашка солдатская, консерва или колбаса?» Он как глянет на меня волком, как зарычит: «Я те дам, говорит, такую придачу,

что босиком останешься». Посадил меня среди улицы, стащил мои, сбросил свои, только я его и видел. Надел его бахилы, здоровенные, сырые, но еще добрые, неподшитые. Едва доехали до Култука, ко мне новый солдат, уставился на мои серые, толкнул меня — я так и уселся на бревнышко. Этот уж не меняет, не спрашивает, я и голосу его не услышал, чуть с ногами не оборвал обутки мои новые, а оставил еще «новее» — вот эти,— махнул отец рукой,— вишь, какие нарядные. Ну, черт бы с ними, что черный и белый, главное — войлок отпоролся и стельки выглядывают. Я — цап их, надернул быстренько, думаю: эти-то с меня не стащили бы. Щеголяю в разных валенках. Начальник мой хохочет:

— Как ты по Харбину в такой срамной обутке ходишь?

— В самом деле, какой уж, говорю, Харбин тут. Отпустили бы меня с богом. Конь мой скоро подохнет, сбруишку отобрали. Какой я вам подводчик, одна лишняя забота.

А начальник, видно, и подошел ко мне, чтобы распорядиться о том.

— Ладно,— говорит,— вот тебе гумага, иди вон в ту избу, там тебе печать приложат — и ступай, куда тебе надо.

Так вот я, слава богу, и опеть на своем курятнике.

* * *

Скоро в село вошли красные.

В Кирькиной тесной избе разместилась пошивочная мастерская. Молодые веселые парни смастерили широкий стол и расставили на нем машинки. Дом наполнился шуршанием. С печки Кирька смотрел на бойкую работу портных, на треск разрезаемых зеленых, красных, синих тканей. Из полос срастались рукава, воротники и, наконец, широкополые гимнастерки, а из малых клиньев шлемы с крылатыми красными звездами. Кирька сбегал к соседям и заманил на печь Ромку Буева и Антошку Улитина, и они прытко следили за невиданной ловкостью красноармейцев. Особо ими приглянулся все видящий верткий паренек, должно быть, старший, к которому обращалась мать и называла его «товарищ командер».

— Товарищ командер, вот этот лоскуточек можно взять? — певучим тихим, вовсе не своим голосом спрашивала мать старшего.

— Этот можно, берите. А вот этот нельзя, — бойко и вежливо отвечал он матери.

— Ну вот, спасибочко. Сколько у вас добра-то. И где это вы столь его насобирали?

— Насобирали, мать, насобирали. Белые-то вон как от нас бегут, немудрено и потерять.

— Варвары-то эти! А у меня своя орда большая, каждому по заплаточке и то...

— Будущие красные бойцы! — поднимал руку парень и потрясал ею.—А у меня браковка есть. Вот поговорю с начальством и отдам вам.

— Да... мы и заплатим, ну хоть...

— Да чем вам платить, мать, после такого пожара?

Ребятишки сидели на печи и, как галчата из гнезда, выглядывали поверх лукошек. Нетерпелось им высказать свою просьбу.

Сам парень их увидел, услышал их робкий шепот, дотянулся до Кирькиного носа и спросил:

— Ну а вам что надо?

Ребятишки смутились, скрылись в глубине печи. Кирька набрался духу:

— Красную звездочку.

— Это можно. Это мы сейчас,— тут же отозвался парень. Не прошло и минуты, как к ним на печь протянулась большая рука.

— Давайте ваши шапки. Сейчас я вмиг увеличу наше войско.

Ребятишки подивились, как ловко и ровно легли на их шапки красные звезды. Обрадованные, они сползли с печи, натянули пальтишки и под похвалы парней выскочили на улицу.

Вечером семья сидела за столом и ела что похуже — одну печеную картошку. Кирька поглядывал на шапку, висящую на гвоздике, слышал, как в зальце не работали, а, поевши, курили и разговаривали парни. Парнишке не терпелось сказать что-то доброе про них, и он выпалил:

— Боялись, боялись их, а они вон какие хорошие!

— Ш-ш-ш, ты! — прошипела мать перед самым Кирькиным ухом, замахнулась на него ложкой, но только пригрозила ею. Отец неслышно постучал паль-

цем по столу, внушительно погрозил им, покачал головой и осторожно оглянулся на переднюю. Кирька вдруг испугался за отца: он ведь только вернулся от белых. Как-никак, хоть и подневольно, а служил им. Ночью парнишка видел сон: страшный старик Каппель, обвешанный ружьями, бежал от парней с красными звездами. Кирька и дружки его были с ними, вместе с ними кричали вдогонку тому:

— Лови его! Лови его!

Среди ребятишек, на полу лежащих, мать находила голову Кирьки, щупала ее и говорила:

— Эка! Набегался вчера. Да полно тебе кричать-то, кого это ты ловишь, Киря!

* * *

Было нехорошо Кирьке, голова побаливала, но тут пришла радость семейная. Селом все проходили и проходили красные. Раз заскочила в избу Фекла Клестова и во всю моченьку крикнула:

— Марфа! Я ведь Ларьку сейчас видела! Идет и на дом свой глядит, солдатам на него показывает. Меня увидел: «Здравствуй, тетка Фекла!» — кричит.

— Ларька! Да ты это что говоришь! — отскочила от печки мать.

— Ларька, Ларька ваш!

— Ох, ох, ох! — заклохтала мать, набросила на плечи курму и вместе с Феклой выскочила на улицу.

Вечером мать взяла Кирьку за руку и повела его в другой край села.

— Крестный твой, Киря, брат твой старший. Помнишь? Да где тебе помнить? В зыбке качался.

Пришли в дом, где располагалось братово отделение. Мать бросилась на грудь незнакомого парня, широколицего, малоглазого, тонкошеего, похожего на сестру Надю.

— Это крестник-то мой? Такой большой стал и со звездой! Гляди-ка ты! — удивился парень и поднял Кирьку высоко.

А мать низко поклонилась такому же молодому парню.

— Отпустил бы, а! Отпусти на часок. В дом родной отпусти. Хошь, на колени стану.

Тот отвечал, глядя в окошко нерешительными глазами.

— Не могу. Слышишь, мать, не могу. Встретились, и хорошо. Нельзя, мать.

— Отпусти,— умоляла и плакала мать,— в родной деревне побыть и...

— Обращайтесь к командиру роты, а я не могу.

Мать заходила в другой дом, на минуту оставив Кирьку на крыльце, назад уж не вела его за руку — обеими руками закрыла лицо и навзрыд плакала.

Утром брат прибежал сам. Все повскакивали, кто с полу, кто с печки, окружили его, щупали его шинель, снимали шапку и примеряли на свои головы. Он же держал на руках малыша Митьку, испуганного, ревущего, и приговаривал ворковито:

— Не признает родню. Нехорошо, нехорошо, брат.

На столе — сало. Горячие пельмени сеяли мясной дух по всей избе.

Стриженый парень торопливо глотал их, а к рюмке не прикоснулся.

— Нельзя, значит, нельзя — дисциплина, да и командир особо наказал,— отвечал парень.

Отец ухмылялся:

— Я, Ларион, за тебя выпью, чтоб скоре домой приходил.

Затаив дыхание, все слушали, где брату пришлось воевать. Чаще других повторял слово Перекоп, а отец похвально тянул:

— Перекоп, это — да. Слышал о нем и по-ранешному, и по-нынешнему. Значит, хватил горького. Да.

Надя хлопала удивленно руками:

— Надо же! Пройти всю землю и попасть в родную деревню!

— Как в сказке,— подхватил отец.

— Не зря ты, сынок, в рубашке родился,— радовалась мать,— ну теперь-то, поди, все.

— В рубашке, мама, в рубашке, ага,— радовался и сын и натягивал шлем.

— Оставь шлем, кока, возьми мою шапку. Она тоже со звездой,— просил Кирька.

— Нельзя, Кирюха. Форма,— ответил брат, прижимая крестника.— Да ты, однако, приболел? Голова-то горячая.

Всей домашней свитой провожали брата до самого того дома. Кирьке только приказали не ходить. Попрощались с Ларионом — мать одна осталась ночевать с сыном и вернулась только утром заре-

ванная. В руках держала черного лаку гармонь. Поставила на лавку и упала на отцов курятник.

Приходили гармонисты, тянули гармонь туда-сюда — не получалось.

— Она не русского строю,— сказал Миша Топтуха,— и не немецкого, потому что на той получается, когда тянут наоборот.

Не шибко поняли Мишино объяснение и гармонь унесли в чулан, решив, что она, пожалуй, английского строю.

— А где же Киря-то? Кирьки-то не видно. Где-ка он?

Сунулись на печку. Потеребили его, просили скорей проснуться да не прозевать завтрак. Кирька не ответил, он был горячее самой печки.

— Да он уж не захворал ли, непутный,— тревожно приохнула мать.

* * *

Кирька видел долгий сон.

Сон начался с того, как лез, рвался к подвалу огромный и страшный старик Каппель; как всей домашней оравой били палками его, отгоняли. Старик прорвался-таки к подвалу, и вот уж навалил на плечо себе большущий мешок картошки и бегом выскочил со двора. Отец и мать, все ребятишки ринулись догонять старика, но тому мало, что он, как ветер, вскружил и полетел — он и Кирьку подхватил под мышки, прижал к себе горячей рукой, дохнуть нельзя: и такой страх на душе, что вот скоро смертушка. Сейчас, сейчас бросит он Кирьку с большой высоты, выше колокольни — бросил уж, и парнишка закричал, падая, ударился о крышу... И последнее, что помнил Кирька, теряясь и замирая,— слышал свой всхлип и плач, и будто подоспела к нему в эту крайнюю минуту мать и прошептала:

— Киренька! Кирюшенька! Эко что стряслось с парнишонком!

И ледяная рука матери легла ему на голову.

Потом долго-долго холодные волны несли его вниз по реке, тянули в себя и выталкивали, и качали, качали легкое и невесомое его тельце. А перед глазами — красное небо, и на нем глубокие черные колодцы, а на дне их — малые пятнышки белого света. Они росли и объединялись, трепетали, гасли, появлялись снова, вырастая с большую раму, в которую било солнце. И где-то далеко-далеко, у самого красного неба, глуше комариного писка, послышался Тишкин голос:

— Мама! Кирька-то глаза открыл!

В затуманенной и все еще горячей голове кружилось первое сознание: был Кирька где-то далеко, и мягкие волны подносят его к родному дому, кладут его к горячей печке, а сами откатываются, прячутся за дверями, за воротами, укладываются в берега реки. Голоса людей приближаются и роднеют, и он чует уже дыхание их, запахи курятника, печеной картошки, дыма. С особой радостью он слышит шорохи тараканов в лукошках и, закрыв глаза и слабо улыбнувшись, хочет сказать о том, но только дернулись губы, и слово убежало.

— Мама, Кирька прошептал что-то,— услышал он тот же Тишкин голос, и вся семья собралась вокруг.

— Ну вот и хворь уходит,— сказал отец.

— Я, Киря, тебе коня выстриг,— под самое ухо крикнул Андрейка.

— А я тебе, Киря, кепку сшила. На дворе-то уж март,— сказала Надя.

— Ш-ш-ш! — зашикала мать.— Вишь, глаза закрыл. Спи, сынок, пробуждайся помалу. Теперь-то все ладно будет.

Стены, печка, стол и табуретки с каждым часом прояснялись и приближались, и были они чисты и светлы, будто только что вымытые. Не было шума машинок, солдатского говора, только доски от стола стояли еще в углу. Надя была маленькая и тощая, как подросток. Не было на голове русых густых волос — она была мелко и рубчато подстрижена. Она ходила тихо на слабых ногах и придерживалась стенок. И еще чего-то не было в избе, приносившего веселье, радость и всеобщее восхищение, и Кирька долго не догадывался — чего нет. Он искал глазами эту потерю и увидел на потолке в боковушке крюк, но не было на нем очепа и не было зыбки, и после болезни он сказал первое слово:

— Митька?

На кухне грохнулась о пол кочерга, подбежала к Кирьке мать, прижалась к его щеке и облила ее слезами.

— Нету у нас Митьки, нету-у-у! Нету у нас веселинки нашей! Нету заскребышка дорогого. О-о-о!

И не удержалась — вытащила из пос-

тели тощенького, слабенького, длиненького Кирьку и положила себе на колени, положила и закачала, будто усыпляла его, такого большого — ножонки пола достают. Боль и теплота пролились по Кирькиному сердцу. На миг забылся стыд, что такой большой он, а ютится на груди матери, что было такое с ним давным-давно, да Митьке передал он эти радости. Теперь Митька ушел, куда и Кирька побежал было да задержался, пробудился вот, увидел свет и родных, и все стало будто прежде обновленным.

— И-и-ись,— слабо протянул Кирька, и мать встрепенулась.

— Ись захотел, слава те, господи!

Она Кирьку положила на постель и давай собирать ему есть — молочка топленого, яичко, творожку. Кирька слабо мотал головой. Ему надо было поесть что-то другое. Мать разводила руками, хлопала по подолу, радовалась, что сын пробудился к еде и не знала, что ему дать, да и что дашь в такую разорную годину.

— Бруснички-и-и,— пропищал Кирька.

— Брусники! Да можно ли теперь? Да где ее добыть?

Надя коснулась материнского плеча.

— Тетка Фекла осенесь собирала. Дак, может, что сбереглось.

Мать накинула полушалок и понеслась к Фекле. Пол кривой, покатый. Фекла едва выползла из кухни, а по крутому полу шагнуть не может, худая, изнемогшая, помалу выползающая из смерти, вся в обвисших кошелях грудей, щек.

— Кирьке? Оживат? Бруснички? — едва повторила она вопрос.

— Хоть рюмочку малую. Да можно ли?

— Дай. На поправу пойдет. Иди в амбар. Я не могу. Вишь, какая!

На дне большой кадки мать насобирала с малую пригоршню брусники, оттаяла ее в загнетке и по ягодке отправляла Кирьке в рот.

* * *

Так в семье Кирька стал опять самым маленьким. Отец скатал ему из шерсти плотный и тяжелый мяч — летом будет Кирька играть в лапту.

Мать пекла ему на поту лепешку, кормила лапшой на молоке — поправляйся скорей. Братья как только с улицы, сразу к Кирьке — вот тебе сера лиственничная, вот тебе «самчик» в самодельной клетке. Мастеровитый Андрейка настриг Кирьке из бумаги, оставленной красноармейцами, разных птиц, зверушек, животных. Свекольным соком Кирька раскрашивал им гривы, хвосты, копыта, уши, крылья и приклеивал это веселое царство птиц и зверей к потным стеклам окон. Приходила глядеть худая, закутанная в платки тетка Фекла, подмигивала ему сквозь стекло, качала головой — ах, как хорошо!

Подбегали к окну Антошка, Костя и Ванька и хохотали, показывали Кирьке языки, пучили глаза, каким приятель их стал тонкошеим и малоголовым. Было вовсе незаметно по ним, что они остались сиротами. Еще плохо понимаемые тоска и печаль приходили к Кирьке, глядя на ровесников. Он манил их зайти, но на воротах были страшные знаки, углем написанные — входить сюда запрещается. Кирька ждал, когда со двора придет Андрейка, сядет подле его постели, возьмет в руки ножницы и наклонится над бумажкой. Нравилось Кирьке, как менялись серые глаза Андрейки, делаясь то хитрыми, то ожидательными, губы отдувались, весь он как бы напрягался, ждал, что же этот раз получится из-под его рук. Напрягался и Кирька, видя, как вырисовывалось копытце, грудка, острые уши, крутая шея, спина, ахал, оттого что лошадка не стояла в замершем виде, а мчалась на всех парусах, вытянувшись в беге и подогнув под собой ноги. Кирька просил выстричь петушка, и Андрейка догадывался, что и петушка надо не такого, какой приклеен к окну, не мертвого, как он сам понимал, а живого, и начинал делать его с головы, с гребешка, частого и рубчатого, с широко раскрытого клюва, с бородки, которая так вот и отбросилась и раздвоилась, с гордой и выпяченной по-воинственному грудкой. На одной ножке стоит петушок, другую поджал сторожко, да нет, поставил ее на жердочку — и поет заливается в час ранний, после чего поднимается мать и замешивает квашню. А вот курочка склонила голову и ровно ищет на земле зернышки и уже нацелилась клюнуть.

— А Серка нашего можешь? — спросил Кирька.

И пошел вырастать под ножницами Серко, по Кирьке самый красивый и сильный конь в деревне. Но что получается? Ноги толстые и столбоватые, брюхо отвисшее, толстое, голова большая и ушастая. Кирька обижен, он не одолел еще болезнь, губы его дрогнули, он готов расплакаться — как мог Андрейка надсмеяться над добрым конем.

— Это не наш Серко. Это какая-то кляча. Переделай, братя Андрюша, — так приучали называть в семье старшего брата.

— Это и есть наш Серко, — уверял Андрейка.

Подходил отец и смеялся над лошадкой.

— Ты бы еще коленки его опойные потолще сделал. А так все правильно, — говорил отец, — шибко похож, куда денешься, конь-пахарь.

Мать тоже глянула на лошадку и чуть у нее не слетела усмешка с опечаленных губ.

— Шея-то экая свислая, ну Серко и Серко. Да ведь не то Кирьке надо. Пойми! Ведь ему какого коня-то надо сейчас. Чтоб он сел на него и скорехонько выздоровел.

— Выстриги ему, Андрюха, рысака городского, — советовал отец, — запряги в пролетку, дуга чтоб была легкая кленовая, и пусть Кирька катается себе на здоровье.

— Ну ладно, — смирялся Кирька, — Серко так Серко, ты его, братя Андрюша, в соху запряги. Вот красота будет.

* * *

Тишка тоже теперь чаще бывал подле Кирьки. Тоже придумывал разное, чтобы развеселить брата. Особо интересна была игра с тараканами. За окнами шел март. Из-за реки возили последние бревна. То и дело, напрягаясь в хомутах, склоняя низко голову, кони тащили мимо окон огромные сутунки. В брюшко таракану Тишка втыкал щепочку и заставлял волочь это «бревно» по полу. К таракану прибавлялся таракан и вот уже целый обоз тащился по полу с одного угла в другой. Тишка большой мастер передавать разговор, смех, улыбку, соседа или соседки. Садился он перед Кирькой с подвернутыми под себя ногами и начинал строить рожи. Получался дед Митрий Гаев с его вековечной трубкой во рту. Тишка умел по-Митриному трубку набить, широко раскрыть рот и вставить в него чубук, потом зашариться по карманам в поисках трута и бить, бить кресалом по кремню, вызваляя искру, громко чмокать губами и заставить, наконец, болезненного Кирьку засмеяться. Получалось у него правдашней и тяжелогрудая, торопливая, скороговорчатая тетка Фекла. Но наотличку смешным получался и отцов племянник Миша Топтуха. Тишка уже побывал не раз на заимке, там видел Мишу в поле и на отдыхе и в момент приготовления обеда или ужина, и за последнее-то дело его и прозвали Топтуха. По нужде Миша нажимал на картошку. Варил ее в мундирах, чищеной, пек в горячей золе, а раз решил приготовить ее по-городскому, но забыл, как она такая называется. Ему мужики подсказывали: «Разварюха? Мешанина? Рыхлятина? Толкучка?» Все было не то, и Миша махнул рукой.

— А! Да та самая, которую толкушкой-то толкут. Вот беда. Нарочно хотел запомнить городское слово. Ну да бог с ним. Назову ее топтухой.

Эту заимочную картинку Тишка передал Кирьке как сумел и давай-ка рисовать Мишу за приготовлением топтухи. На кровати перед Кирькой он поставил чашку, отыскал и толкушку и, наклонившись над посудиной, почал разминать в ней пустоту с таким усердием, что Кирька хрипато расхохотался.

— По-городскому, чисто и скусно надо все сделать, — приговаривал Тишка по-Мишиному и совал пустую ложку в рот брату. Тот ее облизывал и хвалил и смеялся, а Тишка все расходился и расходился в своем актерстве. Поставил он чашку на пол и давай будто подкладывать под нее дров, разжигать костер, дуть под него, отмахиваться от дыма и приговаривать: «Скусная городская еда, ага, вот поем! Эх, кабы маслица ишшо». И тут Тишка забегал вдруг возле тагана, схватил с огня как бы горячий котелок, пнул его ногой и заохал: ох, ох, вот это поел, вот это городская еда!

Тогда так и получилось. Миша с разговорами да с побасенками о городской «скусной» еде забыл о костре и спалил,

изжег картошку без маслица и сальца, так, что пришлось ее выбросить и не без труда вычистить котелок. Оттого-то и запомнилась Мишина топтуха и стала его прозвищем.

Но Тишка в актерстве и перебарщивал. Круглая голова Кирьки, по его, похожа была на облупленную луковицу, тонкие руки на мутовку, ребрышки на обручи. Брат принимал такие сравнения за насмешку и надувал губы. Тишка и губы, и глаза его обиженные изображал и вызывал писклявый протест, прибегала мать и прогоняла убирать стайку веселителя.

* * *

Хотя и был запрет ходить друг к другу, мужики забывали об этом и часто собирались у Бояркиных. Как терпели ноги — привычно рассаживались подле порога на кукорки, закуривали и неизменно разговор вели вокруг красных и белых. Иные не вытерпевали сидеть так, уходить не хотелось, проходить и садиться на скамьи не смели, и не приглашали их (на воротах-то что написано), они растягивались на полу, опершись на локоть. Удивлялись несогласию в поступках войска: белые богу молятся и воруют, грабят, лаются, красные бога не знают, из-за стола выходят не крестятся, а люди куда добрее, покладистее и шибко нажимают на слово «товарищ». У них и дедка и бабка товарищ и подростка чуть не товарищем называют и так любовно, игриво слово это к каждому человеку прикладывают.

— И вон одну куру оставили, картошку всю пожрали каппели-то эти, а красный солдат, портной-ёт, новую гимнастерку подарил, правда, бракованную, — говорил отец и вытаскивал гимнастерку из ящика, крепко помятую, хлопчатобумажную.

— А где брак-то? — спрашивали соседи.

— Это им виден брак, нам он не виден. Мы вон сами сошьем рубаху, косую, кривую, а блестит — и ладно.

— А Ларька дома был, молился ли богу? — спрашивали соседи.

— За тем ли мы следили, на миг-то заскочил! — заметила мать.

Как же такое ей можно было пропустить, если неделю целую наблюдала за солдатами-швеями. Она ждала, что вот сейчас Ларька выйдет из-за стола и от радости, что встретился с семьей и домом, поклонится матери и отцу и малой иконке на угольничке. Но Ларька лишь бойко развернулся, махнул рукой, словно молвил «ну вот и наелся» и сказал: «До свидания, родной дом», — и побежал в свое войско, в свою новую семью.

— Да ведь что говорят эти красные,— недоумевал и Миша Топтуха, — бога нет, а есть земля, небо, природа. Мы сами знам, что природа, да как ей без бога быть?

— Вот и поп наш Николка, умный, хитрый, чертяка, — добавил отец. — Этак придет, то да се с ним. «Батя, веришь ли ты сам-то, чую, не веришь, однако?» — «Верю, — говорит, — во всю эту красоту, в природу, а за ней есть ли бог, не знаю, не ведаю».

— Так он тебе говорил? — хором спрашивали мужики.

— А что вы не видите сами-то? Как он в пасху обходит народ? Бегом. Лишь бы поскорей, лишь бы как-нибудь.

С этим соглашались. Поп стал заметно тороплив и невнимателен. С таким разговором мать не соглашалась, косилась на ребятишек и отправляла их подальше в боковушку. Красноармейский февраль все перепутал.

Мать тоже не знала теперь, если ли бог, да это, по ее, было вовсе и не главное. Главное в том, что, не веря, не вышла бы семья из повиновения. Не расстроился бы порядок, так складно вжившийся в семью? Не стали бы дети ее неслухами, грубиянами, матерщинниками, как это стало заметно у других после красных и белых. Приглядывалась к ним — нет, будто все ласковы, уважительны и прилежны к работе.

Но вот раз Андрейка выскочил из-за стола и не перекрестился.

— Ну-ка, перекрестись, — крикнула мать.

Андрейка засмеялся.

— Да я уж какой раз вылажу не крестясь. Да что я маленький? Кирька, что ли?

— Эко поводья-то мы опустили с отцом. Ну, погодите, я возьмусь за вас,— пригрозила мать, которая шибко боялась, как бы дети не стали походить на Феклиного Яшку.

Года два назад Яшка перестал креститься, а нынче как навык безбожно лаяться, по-модному, к каждой матушке приписывая бога, боженят, Христа, ангелов и архангелов, все в трижды или в четырежды бога мать. Яшка слова путного не мог сказать, косноязыкий, кривозубый, заика. А как за мать, куда девались Яшкины слабости, получалось виртуозно, на диво заученно и складно, будто он дома за печкой сочинял эту отменную прилипчивую, для многих неслыханную брань. Мать будет теперь кормить-то кормить, но и следить неотступно и за руку держать будет, как поднимутся от стола. А тут горшки-черепки в печке, отвернулась на минуту, Андрейки и след простыл. А за ним и Тишка шмыгнуть собрался. Мать вернула его за стол и подумать велела, но сколько будет думать Тишка? Чтобы не оставить печь без присмотра, она решила сперва вытащить Тишку из-за стола, тот уперся спиной в стену, коленями в стол, стол заскользил, подкатился ножкой к подпольному колечку, уперся в него и стал падать. Полетели чашки, ложки, полетел и самовар, тот самый, который так усердно прятали от каппелевцев. Тут уж матери было не до Тишки. Схватила она, слава богу, пустой самовар, давай разглядывать, не порушил ли его варначище, но только погнулась ручка. Налила в него воды, вскипятила — послужит еще. Кирька, первый раз сидевший за столом, дивился прыткости брата, покорно поднялся из-за стола, руку отдал матери, чтобы та наложила на грудь его три широких креста. Вечером, когда братья улеглись на полу, мать поставила перед ними скамью, села и стала убеждать их:

— Вы любите мать-то, отца? Любите, знаю. Так как же делаете против воли их? Или они глупые? Глупее вас, что ли? Людьми они хотят сделать вас. Бога любите, нас любить будете, с любовью на земле жить будете. Умными вырастете, любовь свою искать будете, найдете, не найдете иную-то, не божью, зато окрепнете через нашу умом. Не глядите на варваров, на пустышек этих, собак гавкающих. Приглядитесь к нам пока. Яшки эти, вот попомните меня, пойдут по тюрьмам, по острогам, потому что потеряли одно, а найти-то пока нечего, душу-то питать нечем.

— Бога-то, мама, не видно, не слышно. Вот ты, вот тятя, а бог где? — задавал Андрейка вопрос, который нынче задавали все.

— И я тоже не вижу его. И что же из того? Мы бы его увидели телесного-то и оплевали бы его — такой озорник человек. А невидимого-то нельзя ни осмеять, ни изгадить. И не он веру несет нам, мы верим в него, верой живем, верой этой здоровее становимся, сильнее и надежнее для жизни. Придет пора, ой, скоро ли — придет и вера иная, а пока эта наша — самая надежная, самая проверенная.

— Молиться не будем — боженька накажет нас? — спросил Тишка.

— Не бог накажет, сами себя накажете, — учила мать детишек. — Вот Яшка сам себя сечет. Землю пахать — не хочу, рыбу ловить — а ну ее. Полез в подполье к Гаевым, что у них есть? А попакостить надо — это и есть наказание. Опомнится ли? Опомнился бы, а так пойдет, говори — пропал. Бог-то наш весь в труде да в заботах. Ладно, спите. Это вам на покой, чтоб сон хороший приснился.

* * *

Бежала весна, и укреплялся здоровьем Кирька. Прошла река и заблестела в Кирькины окошки. Суетный и возбужденный отец поднимался рано, надевал на себя брезентовый плащ, отдутую, полную всякого рыболовного добра сумку, мать совала ему кусок хлеба, и он убегал из дома на весь день. Вечером тяжело заваливался в избу, разувался и ходил параскорячку, кособенил ноги, на подошвах белели мозоли.

— Ну, мать! Всю Набережную исходил, ноженьки гудят, — весело скаля белые зубы, рассказывал отец, вываливая из сумки рыбу. — Этого леночка-то я с подмосток поймал. Слез с подмосток, да запнись, да через камень кувырк, аж удилище из рук вылетело. Думаю: пропал мой ленок. Нет ведь. Удилище потащил — хвать за него. Ну, слава богу, вывел.

Отец ел, ложился на курятник, тер руки и ноги и не переставал рассказы-

вать о рыбалке, будто он побывал на празднике.

— Васька-то Улитин: ты, Прокопий, колдун, однако. Мы не можем, у те сумка цельная. Ты, говорит, что все время шепчешь, губами-то шевелишь? Я говорю — рыбу от вас отманиваю. Ну, говорю, еще поменьше у костра сидите, поболе на воду глядите. Червячка почаще обновляйте. А то наживят одного и гоняют его до обеда. Не пойму, Марфа, как это можно на боку у костра лежать да сказки слушать. Я версты избегаю за харюзом, по каменьям, по гальке, ладно по песочку. Ить идешь не дрогнешь, а подержи-ка удилище длиной с добрую сосну, а погляди-ка с утра до вечера на поплавок. В глазах рябит, в подколенках дрожит, а на сердце такая радость — вот-вот клюнет. И клюнет ведь за старанья мои.

Мать разбросала улов на кучки — эта сейчас в уху пойдет, эту — посолим, эту, если кто подвернется, — продадим.

— Продать бы, продать, да на бродни, отец, тебе насобирать. У тебя они совсем худые стали. Так испочинял, что и починять нечего, — ласково говорит мать, довольная уловом, бросает взгляд на отцовы ичиги, порыжевшие от дряхлости, пестрые от заплат.

— На Рассыпную больше хоть не ходи. Народишшу! — не может отделаться от реки, отец, — люблю, чтоб никто не мешал. Тишина нужна, покой и размышление, как ее обмануть, на какую наживку скараулить. Я ить сяду поесть, а в голове мушки, козявки, букашки — каку испробовать. А дай-ка распорю брюшко, загляну рыбке в желудок, чем он набит. А! Весняночка! А давай-ка на весняночку! И пошла и пошла. А для них — базар, для них сказочка. Сказки рассказывать надо вот тут — на курятнике.

И поглядит на каждого из сыновей, пытливо, внимательно.

— Кто из вас рыбак будет? Кто фартовый? Андрейка? — этот и реки не видит, этот хозяин, кони бы ему, заимка. Хорошо! Тишка? Этому все надо быстро и легко. Характеру нет. Терпению надо учиться. Киря? Киря вот разве со мной будет на реке дневать и ночевать. Давай, Киря, поправляйся скорей да попробуй-ка, чем сладка река. Да только, ой, не заразись шибко-то. А то попадать будет, как вон мне от матери: поймаешь — весела, не поймаешь — туча-тучей, — смеется отец и поглядывает на мать.

* * *

С ласточками Кирька вовсе выздоровел. Шла еще весна, но на крыльях своих ласточки принесли лето. И казалось, глядя на их смелость, хозяйственность, прыткость и всезнаемость, они свои, прошлогодние, только на зиму отлетевшие в теплые края. Под сараем, на сеновале они устраивали шум, распределяя между собой старые и новые гнезда, дощечки, приколоченные отцом, слежки, выступы, носились в воздухе с соломинками, волосинками, с набитой в клюве грязью для гнезд. Ласточки всполошились вдруг, объединяясь в дружную артель, возносились над домом и гнались за вороной или соколком, бросаясь сверху на них с грозным щебетом и воплем.

Ласточки совлекли Собольку весело лаять, коров излишне мычать, цыплят громче цимкать, а малых ребятишек носиться по улице и что-то новое затевать. Рыболовные заботы Кирькиных дружков побудили его обратиться к отцу.

— Дай мне, тятя, свою удочку.

— Моя, Киря, удочка неприкосновенна. Да и велика она для тебя. Гляди, сколько выше она сарая. Она только мне и подчинится, — сказал отец и положил длиннющее удилище Кирьке на плечо. Кирька присел под ним и подивился его тяжести.

— Каково? То-то! А я тебе дам покороче. Начинай-ка, брат, начинай. Может, кормить будешь всю семью. Может, заменушка мне выросла. Давай.

Снял отец с чердака легкое сухое удилище, скорее прут, привязал к нему настоящую леску, из белого конского волоса скрученную, из пробки смастерил поплавок. Долго ковырялся в сумке ленивыми толстыми пальцами, перебрал десяток драгоценных крючков, выменянных в городе на рыбу, не фабричных (в те поры их не было), а смастеренных городским умельцем из дорогой проволоки и на каком-то особом воске проваренных.

— На-ка вот этот. Вот тебе и кончик жилки, — сказал отец и так обрадовал Кирьку, что тот не мог усидеть на месте. Дружки его, Ромка и Антошка, с за-

видкой глядят на Кирькино удилище. Никто им, сироткам, такого теперь не сделает. Их удилища — палки, лески из ниток, крючки из булавок.

— Снаряжу тебя, брат, по-настоящему, — неторопливо говорит отец, — ну и береги все, не на один ведь раз. Не оборви удочку, не сломай удилище. Коли поймаешь, на кукан рыбку создевай и в аккурате домой принеси — жареха будет.

Чует Кирька, смеется отец, но и снаряжает сына старательно, и у парнишки дыхание перехватывает. Вон как все повернулось — недавно из избы не выпускали, а тут идет он на вольное рыболовство, на большое дело, на второе дело после пашни. Что будет с Кирькой на реке?

— Ну ладно, — с лукавой серьезностью говорит отец. — Рыбак собран, а на что ловить станешь? Наживку-то какую припас?

— Мы кочку раскопаем, червяка добудем, — кричат друзья.

Кирька же о червяках и не помышлял, не оттого, что не знал о них — восторг его поразил окончательно, хотелось тут же схватить удилище и мчаться на реку. Но тут же и вспомнил, что, уходя, отец открывал заветную баночку и разглядывал каких-то своих, особых червяков.

— Так я сейчас в огород да и накопаю, — восторженно вскрикнул Кирька и бросился было к лопате, но отец остановил его.

— Ладно. Не суетись. На рыбалке нельзя суетиться, это ведь дело, а не игра. Червей я тебе дам. Мореных. Голодных, значит. На мореных, чистых, рыбка клюет жаднее.

Друзья навострили глаза, к банке присунулись, разглядывают в мохе прячущихся розовых червячков. Свои банки открывают — их черви черные, неприглядные.

— Вы какую рыбу-то собрались ловить? — спрашивает их отец.

— Хоть бы малявок, — неуверенно говорят ребятишки.

— Ну для малявок ваши черви как раз, — смеется отец. — Наш Кирька на харюза нацелился. Ага?

— Ага!— подхватывает Кирька, веря, что ему обязательно в этот первый раз попадется большая рыба.

— Весь в отца. А удилище не сломается? — во всю силу машет отец жидким и податливым прутом.

— Выдюжит, — радуется Кирька.

— Забрасывать-то умеешь?

Кирька размахивается так, что удилище хлещет по земле, едва не достал до конуры, в которую тут же вскочил Соболька.

— Так, брат, только рыбу пугать. Ты вот так, аккуратненько к воде подойди, наживи, поплюй на червячка, в брюхо упри удилище и закинь леску тихо, спокойно. Ну, с богом. Ни пуха, ни пера. Да рыбу-то на кукан. Слышишь. Хо-хо-хо!

Ровесники выстроились в ряд, важно положили снаряды на плечи, как солдаты ружья. Дружки на реке уже побывали и лавливали малявок. Кирька отстал по болезни, и все ему было вновину. Кончился последний переулок, спустились с горки, и открылась рытвина, в подмывах, по краям ее, вцепившись корнями в землю, опасливо держались сосенки и березки, другие корни их голо и беспомощно висели над обрывом. Смелая боярка устроилась на дне оврага, разрослась широко, устояв от многих вешних разливов, от последнего на ней шевелились клочья травы, солома, задержанные острыми иглами, но вся она трепетала глянцевыми малыми листьями. За бояркой шла темная и опасная сумрачь — в ней-то и скрывался коровий и лошажий могильник, полный, сейчас так и несет из оврага, как из трубы, тяжким смрадом гнили. Оттого ребятишки миновали его скоренько и вышли на берег курьи, той самой, в которой так счастливо покупался зимой Кирька. Малые камышинки пробивались по краям ее, робкая рябь катилась по ней в сторону деревни. Как увиделась речная протока, ребятишки ринулись к ней вприскочку, чтобы занять самое уловное место. Кирька не отстал от них, и ему достался серый камень, мшистой половиной своей ушедший в воду. С неуемным волнением Кирька принялся разматывать немудрый снаряд, боясь отстать от ловких и умелых товарищей. Он еще червячка наживлял — Антошка малявку на кукан поддевал.

— Обрыбился! — радостно вскрикнул Антошка и потер ладошку о ладошку.

А Ромка оглядел Кирькин снаряд.

— Киря, ты много глуби дал, задевать будет. Червяка не с хвоста, с головы надевай. Дай-ка покажу.

Ромка — родня дальняя, вот он и помогает приотставшему в опыте родственнику. Забросил удочку Ромка без глупого размаха, унося поплавок на воду слабой и ловкой подкидкой. И тотчас клюнуло — и на крючке трепыхалась рыбка. Сопя и пришвыркивая, Кирька наживил свежего червячка, и этот раз так же поспешно клюнуло. В его руках почуялось слабое подергивание и передало парнишке волнение, которое пришло к нему впервые. Отвагой ли, удалью ли это назвать — все в нем взъерошилось, в лицо бросился жар, руки вздрогнули и напряглись, и как ни учил отец быть неторопливым и аккуратным, со всей силенки выхватил снаряд из воды. Блеснула рыбка в воздухе и полетела за плечи в густой куст боярки, Кирька бросил удилище на каменья и в восторге и ликовании полез в кусты отцеплять свой первый улов.

С длинной веревочкой — куканом никак не справится рыбешка, то побежит вглубь, то опрокинется на брюшко. Кирька смотрит на нее зачарованно — он же ее поймал. Жарким и прытким взглядом следит за поплавком, маленькой сосновой щепой, воткнутой в пробку. Щепа бежит по водной ряби и словно прячется от взгляда, вмиг исчезает, и вот уж кто-то крепенько подергивает, будто просит — отпусти, не хочу.

— У те елец попался! — кричат мальчишки. — Не выдергивай, а подводи.

Кирька не знает, что значит «подводить», и бойко выхватывает серебристую рыбку из воды, рыбка блеснула на солнце и шлепнулась в воду у самого Кирькиного камня. Бросил он удочку и сунулся за ней, но та только хвостом махнула на прощание. С разинутым ртом Кирька поглядывал на воду и на ребят, едва перевел дыхание и захохотал вдруг, приплясывая и хлопая ладошками.

— Вот это да! Вот это рыба, вот это да!

— Это мореные червяки! Киря, дай мореных.

Стали все ловить на мореных, забрасывать подальше, но цеплялись те же мальки, и скоро у каждого было их по кукану. Кирька ловил малую рыбу и все поджидал большой: снасть у него лучше, да и помнил, что сказал отец на дорогу, хоть и знал, что сказано было в шутку. И все подальше норовил закинуть и все отбавлял да прибавлял поводок. Этот раз, последний, клюнуло здорово, так крепко держало, что согнулся Кирькин прут. Какая-то новая оторопь охватила парнишку, и пусть хоть самая большущая рыба подцепилась на уду, все равно он вытащит ее на удивление и зависть ребятишкам и на радость отцу с матерью. Они ахнут разом, хлопнут куканами и крикнут:

— Кирька! Молодец-то какой!

Так в один миг пронеслись в голове Кирькиной эти радостные предположения. Но рыба к берегу не шла, видать, пала на дно и не хотела сойти с места. Кирька упер в брюхо удилище, как советовал отец, и закричал во всю мочь:

— Ромка! Антошка! Глядите, не могу сдвинуть!

Друзья тут же подбежали, подергали по очереди леску и решили, к Кирькиному огорчению, что это «задев», что в воде, видно, коряга или бревно, и удочка вонзилась в него. Ромка снял штаны и побрел было отцеплять, но глубже брюха забредать побоялся. Дергали, дергали и оторвали крючок, а с ним и дорогую жилку. И хоть на кукане было малявок — хватит на целую сковороду, на сердце рыболова было тоскливо. Кирька смотал леску на удилище и одиноко отправился домой.

— Гли-ка, мать, что Кирька-то несет, — весело встретил его отец, — да ты что-то губы надул. Неладно ли что?

У Кирьки язык не поворачивался сказать, что стряслось на рыбалке. Держа в руках удилку и ковыряя концом ее землю, Кирька сопел, вздыхал и отворачивался к калитке, в которую только что вошел.

— Знаю, знаю, брат, что с тобой: ты удочку отсадил. С камня крутого рыбачил, наверно?

— Ах-га,— куда-то себе за воротник сказал Кирька и чуть не заплакал.

— Ну ладно.— Первая вина проще-

на.— А иди-ка поешь, что осталось,— и отец подтолкнул его легонько к крыльцу.

* * *

Раз за столом, распределив семью по работам, родители поглядели на Кирьку, словно задались вопросом: этого-то к чему определить?

— Научился рыбачить-то, ладно. Теперь куда его, мать, пристроим?..

— Большой стал. А у нас куча дел разных, — сказала мать.

Кирька насторожился. И правда, в доме все работало, кипело, шевелилось, братья и сестра шли к работе или от работы, и все заботы крутились по торным тропкам от огорода к дому, от дома к гумну и дальше на неведомую для Кирьки заимку. Вот бы туда хоть разик съездить.

— Отец, а если в пастухи его? — спросила мать так, будто Кирьки тут нет. Неужто пасти скот, это ведь дело взрослых или вон Андрейке под силу.

— В какие ты метишь пастухи? — спросил отец не для матери, а для Кирьки.

— Да в утячьи-то.

Оглядела мать Кирьку внимательно, словно первый раз видела: подойдет ли, справится ли парнишка с этим делом?

— Справишься? — спросил отец.

Кирька моргал глазами. Не было такого, чтобы в их доме кто-то сказал: не могу, не буду. Братья пасывали утят, но были рады-радешеньки, когда по надобности отводили их от этой девчоночной работы, занятия нудного, скучного и однообразного. Видел Кирька, как братья его сидели на берегу узкого заливчика под горкой с длинным прутом в руках, забредали в воду и сгоняли в кучку рассыпавшиеся желтенькие комочки.

— Справится, — решила мать, — те справлялись. Коршуна, вороны остерегайся. Как увидишь в небе большую птицу, кричи: «кувышшь! кувышшь!» Дикая птица боится этого слова. Ну-ка, крикни, как получится.

Кирька крикнул, и отец с матерью засмеялись.

— Видишь, как славно получается. Смотри, глядеть и глядеть надо. Не спи, не отвлекайся. Пользу принесешь. Большой ведь.

Утром Кирьку подняли необычно рано, дали стакан молока и кусок хлеба, а под сенями многоголосо пищали утята. Стоило поднять задвижку, как, сшибая и отпихивая друг дружку, табунок ринулся к воротам и желтым пятном покатился через улицу, в переулок. С горки утята не бежали, а кувыркались, и вот им вода, и рассыпались они по ней теплыми шариками, подныривая головками и обливая себе спины свежей прохладой, порхали куцыми крылышками и весело разговаривали. Иные, добравшись до воды, так усердно купались, шныряли в траве, что к вечеру едва шевелились, промокали и жалобно пищали. Таких Кирька ловил, грел своим дыханием и сажал в лукошко на теплую шубенку. Там они согревались и просились на воду. Других так и не покидала дрожь. Они принимались зевать, роняли головку и вытягивались бездыханные. У Кирьки замирало сердце — что будет от родителей. Кирька выкапывал ямку, девчонки закутывали утенка в тряпочку, и появлялся новый крестик на необычном кладбище. Мать не ругала, приходя за табунком, но строго поджимала губы, когда Кирька объяснялся услышанным у девчонок словом.

— Хлипенькие.

— Хлипенькие-то хлипенькие, а ты не давай закупываться. Будь приглядливым.

Дома отцу говорила:

— Ой, пастухи, ой, напасут. Прихожу, они в куклы играют, в камешки, а кладбище растет и растет.

Не забыть Кирьке тревогу, какая постигла всех пастухов, когда заигравшись, они услышали всплеск. Большая птица, едва оторвавшись от воды и тяжело махая крыльями, понеслась над камышами, утаскивая в лапах утенка. С засученными штанами, с приткнутыми подолами ребятишки бросились в воду, принялись кидать в птицу камнями, кричать дружно: «Кувышшь! Кувышшь!» Но птица поднималась все выше и выше и скоро потерялась из виду, а мать, будто чуяла, бежала уже с горки, хлопала ладошками над собой и кричала то же слово, только у нее получалось ужаснее и громче. Стали пересчитывать, чьего утенка украл коршун. Недоставало Кирькиного с чернильным пятнышком на спине. Тут мать стала вовсе сердитая, дала Кирьке

легкого шлепка по спине и начитывала:

— Ты как же это прозевал! Мы тебя с отцом на такое дело... Ты у нас всех утят пропасешь. Вот пастух, вот надежа наша.

Но тут же и смирилась, вытерла Кирьке нос, привлекла к себе и теплой широкой рукой погладила по взъерошенной голове.

— Ладно. Не пугайся. Рано однако мы тебя запрягли. Ну да привыкать надо. Жалко утенка-то? — спросила.

Спрашивать было не надо — так досадно было парнишке за свою оплошку и нерадивость, шлепков бы ему крепких побольше. Как это он отвернулся от болотца, загляделся на девчоночьих утят, на самих их с мокрыми подолами, посмеялся даже над ними, за смех-то и беда пришла. И так и видится утенок в черных лапах коршуна в пяти каких-то шагах, и короткий писк, и не кровь ли это канала из него.

Отец, сидя за столом, посмеивался:

— Ты бы его, Кирька, ловил за хвост, как жар-птицу. Помнишь?

За недолгое пастушество крали у Кирьки утят кошки и какой-то зверек, и трудно было уследить. Каждый раз мать в воротах пересчитывала утят — табунок все уменьшался, хоть и пас его Андрейка и Тишка. К осени он ополовинился, но и выросли утята, стали длинные, серые, красивые, голос изменился, одни сипели, другие громко крякали. В те дни их не пасли, а только присматривали плавающих в просторной курье, подле реки и опасались: не выплыли бы за нее, и не унесло бы их в низы. Когда появились забереги, Кирька с Андрейкой поплыли на лодке выгонять бойкий табунок на берег. До того утки были бойки и подвижны, что пришлось гнать их в самое узкое и конечное место курьи, где деться им было некуда, кроме как невольно шагать в забытый двор. Тут одна утка вдруг воспарила, поднялась над табунком, дала низкий круг, покрякала и подалась к реке. Это было так неожиданно, что Кирька побоялся, не взлетел бы весь табунок, но его успокоил Андрейка:

— Это дикая утка. Кряква. Она приняла наших за своих и прижилась.

* * *

Так шли день за днем Кирькиного приобщения к первой настоящей работе. Был жаркий июльский день. Утята забились в густые камыши и не вылезали оттуда. Кирька с пастушками сидели в тени за баней. Тут подошли к ним Антошка и Костя. Были они сиротами. У Антошки была мать и братья, круглый сирота Костя жил в семье старшего брата Ивана. За время сиротства они опустились, одичали, малые несмышленыши. Рубашонки на них были грязные, мордашки и шеи почернели и залоснились. Слышно было, что они недопивали, недоедали, были лишними и безнадзорными. Где-то они, видно, отсиживались от лишних толчков и подзатыльников, выползли на свет божий и жаркое солнышко.

— Пойдешь купаться? — спросили они Кирьку.

— Дак утяты-то.

— Мы быстро, нырнем по разу и домой.

Кирька посмотрел на горку — не сбегать ли домой, не отпроситься ли у матери, но тут девочка согласилась последить за его табунком.

— Только недолго, — предупредила она.

— Да вот же курья-то.

Между кочек по тропинке, которую протоптали коровы, обжигаясь босыми ногами о жгучие ветки жабрея, ребятишки понеслись к светлой полоске воды, на бегу стаскивая с себя рубашонки.

Сиротство друзей Кирькиных научило их пропадать то на речке, то в чаще, на гумнах и даже на ближних заимках. В беде своей они мир познали шире. Они обрели какое-то недетское преждевременное бесстрашие и в воду бросились отважно, совлекая и товарища:

— Разом, Киря, бросайся. Чо ты ноги-то мочишь!

Схватили его, кричащего, и завели вглубь, ухающего, и нажали на голову, скрыв его под водой. Кирька едва отфыркался, а друзья уж под брюхо руки подсунули.

— Учись, Киря, плавать. Вот так. Руками греби, ногами бултыхай. Не бойся, не утонешь.

Потом сидели на солнышке и дрожа-

ли, зуб на зуб не попадал, и Кирька напрочь забыл об утятах, словно не было у него этой работы. Натянули штанишки и рубашонки, и кому-то в голову пало пойти в чащу зорить ворон и гонять бурундуков. Перебрели курью, забрались на гору и пошли бездумно и легко рыскать по лесу. Ворона каркнула и метнулась с дерева, ага, где-то гнездо ее рядом. Проворно цепляясь за сучья, Антошка добрался до вершины, дотянулся до гнезда, и на траву полетели смугловатые яйца.

— Не надо зорить,— сказал Кирька.

— Пожалел. А кто твоих утят таскает?

Бурундучок был умнее и ловчее детишек. Он сначала вскочил на пенек и звонко свистнул, затем снесся с него и мигом оказался на верхушке березы. Ребятишки потрясли ее. Бурундук упал к ногам и вовсе развеселил их: пока они топтались в недоумении, он взлетел на густую сосну и скрылся в ее ветках. Какая сосна? Лес густой, бурундучок затаился, и ничего не оставалось делать, как идти дальше.

— А это кто такой стучит? — испуганно спросил Кирька.

— Это дятел дерево долбит. Птичка такая долгоносая, — объяснил Антошка.

Остановились перед норой, свежей и широкой, немалые лапы истоптали вокруг красный песок и глину. Все знающий Антошка определил, что тут живет не волк и не лисица, а барсук, и надо поскорей убираться отсюда, а то зверь сидит где-то за кустами и может выскочить и напасть. Оглядываясь и выпучив глаза, мальчишки ударились бежать от опасной норы, не понимая, куда бегут, где их деревня, где река. Даже бесстрашный Антошка растерялся, крутил головой и не знал, куда повести своих товарищей. Но вот показался проблеск света, открылась полянка, за ней прясло, которое кончилось перед обрывом. Внизу, глубоко, — мелкий кустарник и светлая полоса реки. Стало ясно: спустись вниз и иди вверх по реке — там их деревня. Успокоились, посидели минутку перед спуском и увидели: далеко-далеко, за дымкой ползущего поезда, за синими лесами, там, где сходятся небо с землей, виделись сверкающие, как бы стеклянные, светящиеся облачка, длинная гряда играющих на солнце нагромождений торосов, какие видели ребятишки зимой из окон своих домов, только очень далеких и загадочных.

— Облака ли это? — зачарованно спросил Кирька.

— Может, и облака, кто знает,— сказал Костя.

— Тогда пошто долго они не поднимаются? — спросил Антошка.

Мальчишки не знали, как назвать эту далекую красоту, и Антошка добавил:

— Это земля какая-то выглядывает оттель.

Потом уж Кирька узнал, что это виднелись не так далекие Саяны и что живет-то он в стране гор.

Спустились вниз, в пахнущий багульником «залавок» и вышли к реке, к месту недавней рыбалки. Повиделась деревня, а с нею вспомнились вдруг заботы, дела семейные, и всем стало грустно.

— Мне от братьки влетит, я с сушила убежал,— сказал Костя.

— А мне от матери. Я морковку пропалывал,— сказал Антошка,— тебе всего, Кирька, достанется шлепок какой-нибудь. У те мать и отец.

Не было с Кирькой, чтобы он не спросясь уходил из дому на полдня. Ему надо через курью перебрести, попасть к бане, к девчонкам и утятам, только уж какие утята вечером? Они давно дома под сенями сидят. Такая забота и печаль охватили парнишку, когда одни пустые камыши глухо шумели, да рыжий кот, фыркнув, прыгнул с бани и умчался в огород. Как старичок, тихо тащился он на горку, и чем ближе было к дому, тем медленнее шаг, словно ноги его были стреножены. «Ведь я утят бросил, дело оставил»,— думал и готовился к наказанию Кирька. И услышал материно приглашение сквозь открытые створки окна.

— Иди-ка, иди-ка сюда, молодец.

А как открыл калитку, встретила его с голиком в руках:

— Где бегал? На кого бросил утят? Так разве делают добрые хозяева? Глика, что я для тебя приготовила?

Мать придернула Кирьку к себе, стащила с него штанишки, и, зажав его в коленях головой назад, принялась потчевать да приговаривать:

— Вот тебе, вот тебе за гулены, вот тебе и за то, что всю деревню обегали,

искали проваленного. Вот тебе и за то, чтобы дом помнил.

Отец дал постегать, потом крикнул из-под сарая:

— Хватит на первый раз.

Мать шаркнула голиком еще вдогонку, приказала не выть, не смушать людей. Кирька залез на сеновал, забрался под отцов полушубок, похныкал, посопел еще немного и уснул до утра.

Назавтра к утиному болотцу пришли Кирькины дружки. Костя поднял рубаху, на спине синие полосы, нарисованные вожжами. Скоро забылся материн голик. Но Кирька внимательнее стал приглядываться к соседу Ивану, к его короткому и злому хохоту, к черным маленьким, бегающим глазам, боялся его и убегал за ворота, если тому доводилось проходить мимо.

* * *

Завидовал Кирька, когда с заимки возвращались соседские мальчишки. Были они завоженные и уставшие, не умывались они целую неделю, но в этом и была особая прелесть — вернуться домой такими красавцами с печатью главной крестьянской работы. Сидят на вершной, и одни глазенки блестят у них, а гляди-ка как важно подбоченились будто не бороньба позади, а с войны возвращаются. А Кирька все утиный пастушок, и даже глядят-то на него эти заимошные с каким-то осудом. Кирька запросился на заимку.

— Ты пока там не нужен,— сказала мать.

— А Кузька, Ромка?

— У них братьев нет, у нас вон сколько работников. Да и ни ичижек, ни чирков у тебя нет.

— Старые Тишкины починить бы,— канючил Кирька.

— Что с ним делать, отец?

Отец ковыряется в своем старом обутке и молчит, только как-то светло поглядывает на сынишку, словно хочет что-то понять в нем. Потом откладывает в сторону старый бродень.

— Мать, дай-ка Тишкины, я погляжу.

Кирька сам летит в чулан, где-то там в дальнем углу лежат изношенные ичижки, мать отстраняет его, хлопает по заду за лишнюю суетливость, и вот в руках ее ссохшиеся, скрюченные, мало куда годные обутки, жесткие, как дерево.

— Надо ли, отец, тратить время на починку?

Отец, оглядев Тишкины «обновки», сует их в лохань, пускай поразмокают. Видя молчаливое решение отца, мать озабочено:

— Кто же теперь пасти утят будет?

На миг Кирьку гордость охватывает: он такой нынче, что некем подменить его.

— А Ольга-то на что? — как открытие, предлагает Кирька.

— Ольга своих упасет, а наших проворонит,— объясняет сынишке мать.

— Поговори-ка с ней сам,— советует отец. Сам. С таким словом отец обращался к матери, мать к отцу. Кирька удивлен, но тут же догадывается, что надо действовать. Стремительно выскакивает на улицу, провожаемый отцовым хохотком. Распугал утят, Ольгу и радостно закричал:

— Я на заимку еду! Боронить буду! За конями смотреть буду! Оля! Попаси за меня утят. Попаси, а!

Так сияли Кирькины глаза, так умоляли они девчонку, что та скоро и согласилась, и хлопоты новые охватывают парнишку. Коленки дырявые у штанишек.

— Почини мама, скоренько!

Пока ичижки размокают, оборки надо к ним насучить. Потом разыскал на чердаке старую сетку от комаров.

— Зачини, мама, вот эти дырочки.

Заимочные заботы затянулись до самого вечера. На ночь умащивается Кирька с отцом на курятнике. Так они там, на неведомой заимке, будут спать вместе. А за окном зимовейка — леса густые и звери дикие бродят вокруг, и Кирька, засыпая, прижимается к отцу, чует его колючую бороду и на миг вспоминается давняя сказка:

Братья сеяли пшеницу
И возили в град-столицу...

Утром Кирька натягивает на ноги смазанные дегтем ичижки. Отец успел их починить и смазать? Видно, поднялся с солнцем.

— Как они, не давят? — спрашивает отец.

Обутки просторны, мягки, хлябают на ноге, хотя подмотаны портянки. Голенища хлещут по тонким ногам, но Кирьке

не надо лучше, да и скажешь, малы или больши, откажут ехать на заимку.

— Как раз, тятя. Мя-я-конькие! — отзывается Кирька.

— Тогда скорей поешь, а я коня запрягу.

Все ново, все неожиданно. За кладбищем сомкнулись две дороги от двух деревенских краев. Дороги мягкие, пыльные, и кажется, в них еще держится вчерашнее тепло. По сторонам — луга, перелески и обилие цветов, из этой пестроты и щедрости Кирька выделяет знакомые ему жарки и колокольчики. Они, как два дружка, растут рядом и цветут в одно время.

В воздухе слышен тихий и ровный звон, то поют жаворонки, жужжат шмели, шумит листва придорожных осин и берез. И в голове Кирьки — ласковое кружение. Посадил его отец на вершную, подложив потничок, сам сидит на краешке телеги, и ноги его полощутся травой. Вожжи отец привязал к углу телеги, зачем же ему править, коли сын на коне и повод в руках. Отец расслабился, покоен, весь отдан дороге, от каждой выбоины покачивается, вот и глаза закрыл, лениво понукает коня, делая звук, подобный поцелую. У еланных ворот легко и молодо соскальзывает с телеги. Ворота скрипят, ворчат, дребезжат, но будто и зовут: «Поезжайте-ка, поезжайте, за делом едете». Куда же ехать? Открываются три дороги в три стороны.

— Эта, в гору идет — на Камень. Нам пока не нужна. Эта в Тюляпину, чужая дорога, полей наших там нет. Эта, середняя, наша.

Серка направлять не надо, он за много лет изучил дорогу. Пошли поля: черные — паровые, сизо-зеленые — колосящаяся рожь, темно-зеленые — пшеничные, нежно-зеленые — овес. О том рассказывает отец, как ведет Кирьку по царству, которое для парнишки впервинку.

— Какая маленькая церква,— увидел Кирька маленькое строеньице, не больше амбара.

— Это часовенка, паря, сюда молиться идут, у бога дождя выпрашивать. А за ней ключик Напильный. Пошто Напильный, бог знает. А там вон выше лес Арсеновский. Грибов в нем бывает — уйма. А вот первая заимка — Ближняя.

Вот оно что — это загадочное слово заимка. Низенькие подслеповатые избушки, с окнами, затыканными тряпками, колодезный журавль на покосившемся столбе. Цепня ветхая, с какими-то обглоданными, обитыми краями, колода старая, потрескавшаяся, наваленная на стену старая борона — все это утонуло в зелени и в черемухе, в цветах, которые подбежали к порогам, словно просились в зимовье.

Кирька порядком накрутился на потнике, не натер ли мозоль: все надо увидеть, всему подивиться. Началась горка, и отец спрыгнул с телеги.

— Дадим-ка Серку отдых.

Берет Кирьку легко, как перышко, на землю ставит — и шагнуть нельзя, все в нем застыло, притомилось. И непривычно и радостно. Это начало новой работы, это так и должно быть.

Дорога с глубокими колеями потянулась по длинной пади. По сторонам — залежи, заросшие мелкими сосенками, а дальше густой сосновый дремотный лес, казалось, такой плотный, что вряд ли можно просунуться сквозь него, и словно выскочил из него и решил погреться на солнце, стоял на залежи березовый колок.

— Во-он березничек-то, видишь? — говорит отец.

— Вижу, тятя, а чо?

— Там Карьку волки съели.

По Кирьке как мороз прошел. Карькой назвали бусенького жеребенка, который, выросши, стал бы карим. В доме не один раз вспоминали, как съели Каренького волки, оставив один колокольчик. Теперь у Гнедухи жеребенок чалый, и каждый раз при сборах на заимку мать наказывала:

— Берегите жеребенка. Не стравите волкам.

Тогда крепко попало Андрейке за Карьку. Три переверта проделал он от крепкого кулака отцова. Об этом сам Андрейка любил рассказывать. Серко вот этот, ленивый конишка и трусливый порядком, прискакал спутанный к спящим на залежи Андрейке и Тишке. Волки же игрой и ловкой забавкой отманили от кобылы жеребенка и в кустах зарезали. Кирька смотрит на тот березовый колок, и чуется ему, выглядывает из него кто-

то, крадется к ним, хочет и их съесть. Отец замечает его тревогу и сажает подле себя. Телега тихо тащится по тянигусу, отец качается из стороны в сторону и запевает длинную бессловесную песню, и Кирьке не понять, как можно быть покойным в таком страшном месте. Отец словно пробуждается, оглядывается и говорит:

— Вот, смотри, сейчас покажется и наша, Бояркинская, заимка.

— Ага! Приехали!

— Приехали, брат, приехали к своему другому гнезду.

Кончился лес, и каким-то вспученным холмом поднимается серое паровое поле. Над ним растет, помалу разрастается широкий куст черемухи, где-то вдали, где-то не близко. Но вот замаячила серая крыша, темный провал завозни, маленькое оконце, на миг все скрылось за старыми отметами соломы и неожиданно открылось поскотиной, светлым лужком, на котором стояли борона и телега, таганчик в стороне, от которого шел жиденький дымок.

— А где же колодец, тятя? — спрашивает Кирька.

— Колодца у нас нет,— рассказывает отец, отдергивая жерди поскотины.— Провалился колодец. Дыра одна, в ней еду храним. Есть болотце, там и коней поим, а для себя к дальнему ключу ездим. Далековато.

Не было такого, чтобы Кирьке, малому человеку, отец так подробно рассказывал о заимке, видать, и ему приятно вернуться к полям, к этому зимовейку. Чумазые и веселые, Андрейка и Тишка кончили утренний повод и возвращались с поля. Там осталась упряжь, и кони налегке, отбиваясь от паутов, бойко шли укрыться в тень березняка. Сосунок Чалик приотстал, жалобно зовет мать, на что Гнедуха отвечает коротким и тихим клохтанием.

— Ну как вы тут, работники? — ласково спрашивает братьев отец.

— Да все быдто ладно, тятя, — отвечает Андрейка.

— Не рано выпрягли?

— Паут одолел, тятя.

— Но-но,— понимающе соглашается отец, — а я вам работника привез, — кивает он. на Кирьку.

— Комаров кормить, — по-взрослому говорит Андрейка.

— Надо же когда-то и к комарам привыкать. Слазь-ка с телеги, работник.

Кирька отсидел ноги и чуть не свалился на землю, и братья посмеялись над ним. Прежде всего Кирька заглянул в зимовейко — в нем нары, солома на них, на соломе пиджачишки. Маленький столик у окна, отцова, видно, лежанка, лампа без стекла, в темном углу маленький образок паутинами обтянут. Слазил Кирька на чердак — там печка железная, снопы конопляные. В колодце, у самой воды, — туеса с молоком и рыбой. Кирька на гумно убежал и оттуда услышал:

— Иди-ка обедать.

На крючках таганка висят прокопченный чайник и такой же котелок с пшенной кашей.

— Хватит ли на всех-то? — спрашивает отец. — На нас с Кирькой не стоит и хлеб тратить. Не заработали еще.

— На всех хватит,— говорит Андрейка,— мы глаза проглядели, поджидали вас. После вашего приезда хотели выпрячь, да паут одолел.

— Тьма нынче паута.

Трава выросла добрая. Спутанные кони упрыгивают в кусты, братья укладываются отдохнуть, потому что поднялись с солнцем, чтобы поработать в утреннюю прохладу.

Отец рассказал, что заимка названа Бояркинской по большому роду Бояркиных. Сначала род жил на берегу Ангары в Ашуне, но буряты зорили русских и наконец вытеснили с берега в дальний распадок, вот сюда. Поля — живая запись рода. Первое поле Амоса Бояркина, второе — Романа, брата его, прапрадеда отца, так оно и осталось за ним, и сейчас его боронят Андрейка с Тишкой. После отец сам начистил полей пять, малых и больших, и отогнали лес от зимовья на полверсты.

Не поспалось что-то Тишке, он протер глаза и насмешливо уставился на Кирьку. Тишка — вкрадчивый и насмешливый парнишка, действует тихим манером, и за это его прозвали Кутей, по материному брату. Зовет он Кирьку Пантелеем и донимает его прозвищем в минуту, когда нет взрослых. Прозвище он может петь, изображать руками, выражением глаз, улыбкой, даже походкой

и заставлять Кирьку сердиться и даже плакать, пока не треснет по Тишкиному затылку кто-нибудь взрослый, подоспевший к самому разгару представления. Но этот раз Тишкина дразнилка не подействовала, Кирька так был возбужден увиденным на заимке, что сам посмеялся над братовым актерством. Но Тишке надо было донять Кирьку. Он что-то проделал со шлеей и велел брату исправить, и как Кирька не крутил и не распутывал, ничего у него не получалось.

— Ты и сам-то ее теперь не распутаешь, — сказал Кирька.

Тишка взялся за какой-то, казалось, случайный ремешок — и все стало на место. Тишка вязал узлы на вожжах, которые нельзя было развязать, делал свистульки, которые свистели только у него, но своими тайнами делиться не хотел. И рассерженный Кирька наконец сказал:

— Утят теперь ты будешь пасти.

Тишка насторожился.

— Откуда взял?

— Тетя с мамой о том разговаривали.

— А боронить, поди, ты будешь? Вот наборонишь.

— А боронить меня привезли, — твердо сказал Кирька.

Тишка уставил палец в брата и громко захохотал.

— О-го-го! Клоп такой. Ты коня не сшевельнешь с места.

— Тятя говорит: Тишка тяжел для вершны. Надо, говорит, полегше бороняry.

Последний довод Кирькин так огорчил брата, что он тотчас погрустнел. Ведь и Андрейка ему нынче не раз говорил: «Слезай с коня, пусть отдохнет». Стало быть, и на самом деле он стал не подходящ для дела и поневоле придется уступить бороньбу Кирьке. Не сегодня ли случится? Тем временем подошел к концу средний уповод, кони наелись, стояли под кустами и отбивались от паутов. Проснулись отец с Андрейкой и поплескали на лицо холодной воды, поглядели на солнце — жара сбывала, подошло хорошее время поработать. Отец похлопал Тишку по плечу.

— Ну, брат, пора твоя бороняги кончилась.

Тишка сжался весь, отвернулся и заглядел пусто и тоскливо куда-то за зимовейко, за куст черемуховый, потер глаза, пытаясь выдавить далеко запрятанную слезу, забунчал, засопел носом.

— Сидеть дома. Утят пасти.

Отец засмеялся.

— Их не пасти теперь надо, а выгонять да загонять. Отдохни маленько. Тишка, три года боронишь. А напрок пахать будешь — вот ведь куда дело-то идет.

Тишка смягчился, но все еще дул губы, косо глядел на Кирьку. Похвала и обещание отцовы пришлись по сердцу, и он подал голос опытного работника.

— А что Кирька умеет? Ни запрячь, ни очистить борону от травы. Не знаю, как уж он наборонит.

— Сейчас учить будешь, — сказал отец, и Тишка вовсе отошел, разулыбался, не знал, куда девать руки и наконец важненько подбодрился. Кирька же не мог дождаться минуты, когда он сядет в седло. Все в нем напряглось и изготовилось, и когда отец не посадил его, а вознес на коня, покойно и торжественно подал ему повод и велел ехать в поле к боронам, Кирька облегченно подумал, что он теперь равен дружкам, что он также может вернуться домой, как возвращались его старшие братья. И только маленькая забота жила еще в душе, все ли у него получиться, не назовут ли его недотепой. Когда кони были запряжены в бороны, отец сказал:

— Давай-ка, Тишка, подсядь к нему сзади да поучи, как ехать по-новому, по-старому, как «селезня» не сделать и как на краях поворачивать. Ну, с богом!

— С богом, Кирька, — крикнул и Андрейка.

Тишка все еще сердитым гнусливым голосом учил брата, дыша ему в затылок.

— Да не дергай коня, на борону заедешь. Эх, глупыш, пня объехать не можешь. Ну с тобой наплачется Андрейка. Ты зачем коня-то стегаешь, коли он идет?

Так они проехали поперек поля и два, и три раза, и, как остановились, отец спросил:

— Как бороняга-то? Хоть толковый?

На что Тишка, слезши с коня, важно ответил:

— Его учить и учить надо.

— Ну, Андрейка доучит. Поучи, походи за ним. Дай ему выспаться хорошенько. Мал еще. Заснет да под борону свалиться.

— Да ну-у! — не допускал Кирька о себе мысли такой.

Отец с Тишкой уехали домой, в хлопотах Кирька не заметил их отъезд. Андрейка неотлучно ходил за второй бороной па пару с Чаликом, подле межи поднимал бороны, переворачивал их и вытряхивал осот и пырей, подбадривал брата.

— Мужиком, Киря, стал. За главное дело взялся. Давай, давай. Не подведи. Седни со мной, завтра один боронить будешь.

Стало смеркаться, и кончился первый день Кирькиной работы. В наступившей прохладе отдыхали кони и люди.

Миша Топтуха сидел у таганка и варил картошку. Ночь торопливо наваливалась со всех сторон, лишь костер на два-три шага отгонял тьму, и было похоже, что сидели в тесном балагане, а за стенами его звенели кузнечики, допевали последние песни птицы, в сосновой рощице кто-то тоненько заголосил, Миша заметил Кирькину настороженность.

— Это ничего. Это лисичка воет. У ей голос потоньше волчьего. Тут всего наслышишься. Привыкай, парень.

В черемуховом кусте шарахнулось что-то, должно быть, ворона заплескала крыльями и утихомирилась.

— Иди-ка спать, — сказал брату Андрейка, — завтра со светом боронить.

У Кирьки кружилась голова, виделся лес и дорога, колыхались хлеба, травы, и он тонул, тонул во всю сутолоку дня. Уснул и спал бы до высокого солнца, да над самым ухом гудел братов голос:

— Поднимайся, умывайся, наедайся и на работу собирайся, — собирал Андрейка складные слова.

Все в Кирьке спало, все отдыхало, но запах свежих сухих трав под головой напомнил ему, что он на заимке и на большой работе. Как брат, набирал он воду из ковшика в рот, выпускал ее тонкой струйкой и мыл руки и лицо. Как-то разом ожило все, взбодрилось в Кирьке, и он уже видит в поле бороны, и вот он сам в седле и принимает долю свою нелегкую на целых три года. Утренний холод лезет под рубашку, студит грудь, и почему-то солнце такое холодное, такое нерадостное. Так визгливо и так тонко Кирька кричит на коня и не может удержать дрожь и просит солнышко: грей скорей. На каком-то повороте солнце пригрело, и в теле все смягчилось и растаяло, и Кирьку повлекло ко сну. Да и конь почуял слабость седока, пошел в сторону, к пню, пышно обросшему травой. Ладно, что Кирька не поддался вовсе дреме, тотчас увидел свою оплошку, тянул коня на борозду, взвизгивал, тыркал. Конь упрямо шел в сторону и остановился около пня. Кирька огляделся. Вот бы увидел его Андрейка в таком виде. Рассказал бы он в деревне ребятишкам, матери бы с отцом сказал: слаб Кирька в боронягах, пусть дома сидит. Не было видно Андрейки ни на меже, ни в закрайке леса, и не знал он, как оторвать коня от травы. Он сейчас крикнет голосом самым сердитым, найдет слово самое крепкое.

— Ну ты, черт полосатый!

Повод потянул изо всей мочи, прутом стеганул как можно крепче. Да и обругал коня так, как ругал его Тишка. Конь поднял голову и прислушался.

— Ты что! Ослеп, Гнедко! Куда ты меня притащил, скотина безрогая?

Так тоже Тишка ругался. Справедливые и знакомые слова подействовали на Гнедка — он встряхнулся и спокойно пошел на борозду, покорный Кирькиному поводу.

Когда Андрейка принес на щепу положенные сочные кисельно-белые сладкие ленты соснового сока (их драли с дерева струной), Кирька уже выправил свои огрехи. Бороняга лакомился лесными гостинцами, а брат выпытывал:

— Ты что тут кричал? Не плакал ли? Грязь-то на лице размазана.

— Да ну! Плакал! Еще что? Это Чалик ржал, сосать просился у матери.

— Во-он оно что! — хитро протянул Андрейка. — Ну, молодец, молодец! Я ведь за кустом сидел, все видел. Сам напортил, сам исправил. Молодец!

* * *

С этих дней на много лет заимка для

Кирьки стала вторым домом. Как правило, в субботу вечерний уповод не работают. Кормят коней, налаживают телеги, собирают пустые туески, сумки, косят добрый ворошок свежей травы и, как схлынет жара, запрягают коней в дорогу. Дорога домой — самая радостная минута жизни. К этой поре Кирька был на славу завоженным и заскорузлым, каким и хотел вернуться с заимки. Сперва была такая думка: как придет суббота, нарочно завозит он, закрасит заимошной грязцой щеки, шею. Получилось все само собой — никто тебя неделю не заставляет умываться, день-деньской бьешь себя по щекам, отбиваясь от мошек и комаров, спишь на чем попало, дело имеешь с пропотелыми седлами и хомутами, и день ото дня прибавляется тень, скрепленная своим и лошадиным потом. Андрейка, тот уже парнем становится, бороняжья пора давно позади. Он умоется и причешется, сядет на мягкую траву и, как отец, запоет песню за песней — самый голосистый в семье. Глянет на Кирьку.

— Ты так и не умылся! — и весело расхохочется, видно, вспомнив себя в Кирькину пору. Кто Кирьку первым встретит. Кто первым заметит его заимошный вид? Какой парнишка, какой сосед и соседка всплеснет руками, заулыбается и скажет:

— Ух, как Кирька наработался! И этот, младшенький Пронькин, в работники вышел.

Но более всех волновало его то, как встретит мать. Поди, из ограды увидела, как они спускаются с кладбищенской горки и, поди, распахнула ворота. Так и есть. Распахнуты обе полотницы, и мать пока улыбается, а вот удивлена и руки развела и закачала головой осудительно и похвально, чего больше — не понять.

— Кирька? Да это чей же такой парнишка-то чумазенький? Наш ли это, отец, парень-то? Ай, ай, как он у нас заработался! Умыться было некогда. Ай! Ай! Ай!

В огороде протянула Кирьке руки, и он на минуту почувствовал, что еще дитя,— так мягко, так тепло руки ее взяли под мышки, сняли с вершной и поставили на землю, и Кирька вздохнул отрадно и подумал: получилось все так, как ждал.

Тут же крутится утиный пастушок Тишка, машет руками, радуется возвращению пахарей. Только с рыбалки вернулся отец, длиннющее удилище примащивает под сараем. Сумка отдулась мокрая, и сыновья подле него. Отец не торопится, уставший, еле идет в избу и содержимое сумки вываливает на стол. Скользкие мягкие хариусы и ленки растекаются по столу, едва замершие, или, как говорят, «уснувшие», словно утомились плавать в воде и вот отдыхают.

— А коней-то кто выпрягать будет? — напоминает отец.

Выпряженных коней братья ведут по переулку к баням, где нынче Тишка пасет утят, переведут их за болото, спутают, и будут они там пастись все воскресенье. А братьев ждет баня. В предбаннике лежит кое-какое бельишко, стирано, катано — и ладно. Из бани выскочил отец, горячий, приохивающий. Братьями командует Андрейка. Загоняет малышей на полок, сам водой распоряжается, сам отмывает заскорузлые щеки Кирьки, и тот, шаля, кричит: «Мама». Мать стучит в окошко.

— Что у вас там? Что он воет?

— Кто воет, мама? Это Кирька песни поет.

— Кирьке заимошную красоту отмываем,— поправляет Тишка.

— Я сам отмоюсь, что меня мыть,— бодрым голосом говорит Кирька.

До заката солнца еще целый вершок. Весь околоток успел помыться. Парни, светлые и чистые, понадевали на ноги бабьи чирки и лупятся в городки. Бороняги играют в «старого князя».

— Хватай, имай, старый князь! — кричит Ромка.

Хватает мяч тот, в чью лунку он закатился, и мечет мяч в того, кто замешкался, иной раз так крепенько, что парнишка чешет больное место. Так и Кирьке славно попало по спине, и скоро остаются два игрока, Ромка и Кузька. Кто из них выиграет, кто будет старым князем, откуда пришел он в игру, живет ли сейчас где, жил ли он ране, а нынче — вот он — Ромка-цыганок, черноглазый верткий и смелый парнишка, стал какой уж раз князем, может, только до воскресного утра.

Кто остался на заимке? Разве Миша Топтуха, да нет, и он протарахтел на

своем «одерке» поздно вечером. Позор тому, кто останется там на воскресенье, жадобой назовут, неартельным человеком. Отдыхать, так всем миром. Ну, порыбачь если рыбачится. На то и охотой она прозывается. В карты играй, сиди на бревне и слушай побайки, семечки грызи, в хороводе погуляй, сходи в лес за клубникой, сплавай на остров за голубицей — нет числа радостей, какие может принести этот день. Вон Буев Егор, дом надо достраивать — он со всеми на молодом срубе в лото хлещется. По копейке за карту, лишь для игры и забавы. Все карты от единицы до старика — девяносто прозвол он своим особым именем. Семьдесят семь у него вороновы ноги, это ноги длинного и нескладного мужика Петрухи Воронова. Двадцать два — уточки, двадцать один — очко. Настасью свою назвал «туда-сюда» (это число шестьдесят девять) за ее расслабленную, шаткую походку. Кирька отбился от игры с мальчишками, устроился на бревне и во всю следит за игрой взрослых, за веселым и расторопным острословом Егором, богатым десятью болезнями. Глаза его сверкают, то и жди, что-нибудь придумает. Бочонок он достает долго, из самого дальнего уголка мешочка, глянет на него и осклабится желтыми зубами.

— Стульчики! — Кричит, как задает задачу.

— Что-то новенькое придумал, шельмец!

— Говори, что такое?

— Да сорок четыре. Разве не похоже!

— Стульчики! Да! Надо же! Ха! Ха! Ха!

Кирьке позволяют спать не в избе, а на сеновале. Не спалось, все поджидал Тишку. Вместе под одной дохой они свернулись калачиками и не слышали, когда к ним лег Андрейка, которому разрешили побегать подольше, покружиться подле взрослых парней, ведь год-два — и будет не отличим от них.

* * *

Сенокосной поры поджидала вся деревня, и ребятишки были охвачены той же суетой, поспешкой и напряженностью. Постарше получали от родителей облегченные косы с ловким и коротким косовищем, и о Кирькином возрасте как бы забывали. Собирались шумные сходки и делили десятины. Десятки гуртовались по-семейному, родственному, дружески, у кого больше работников, избегали лодырей, утрясали перебежчиков. Споры и неудовольствия стихали, и косари незаметно исчезали из деревни. Надо, как говаривали, «навалить» травы, самая тяжкая работа от зари и до зари. Возвращались косари подтощавшие, загорелые, и поднималась на селе самая шумная и радостная пора. К берегу протоки натыканы десятками лодок, полные граблей, вил, корзин и лукошек, мешков и кошелей. Бегают люди, что-то забыли, недоглядели, о чем-то не договорились со старухами и стариками, оставленными дома. Брали с собой петушка с курочкой, не затем ли, чтобы они будили там пораньше. К обеду, наконец, все собрано, и тут парни с девками, молодые и молодухи и те постарше, кому охота помолодиться, дружно, артельно, в лучших рубахах и пиджаках, в ичигах, а щеголи и щеголихи даже в сапогах и ботинках выступают изо всех концов села, вываливают с песнями, частушками, с гармонью и балалайкой, со цветами в картузах и на груди. Праздник ли это? Да нет. Не похоже ни на троицу, ни на Ильин день. Настроение деловое и трудовое. Какой-то решительный приступ к самому тяжелому и спорому труду: успей в один погожий день своротить столько, сколько не сделаешь в иные десять дней. Дружно заполняются лодки. Гармонисту и балаечнику — самые лучшие места. Певуньи и запевалы — на почетных скамеечках. Выгреблись из протоки. Бойкая волна подхватывает лодки, и в этот миг зарявкает гармонь, зазвенит балалайка, и сорвутся со многих суденышек тихие и звонкие песни, и подымется над рекой гул и возбуждение, ликование и отвага, заударяется эхо в крутые и скальные берега. А позади останется погрустневшее, примолкшее село.

Мальчишки дома спорили, кому из них удастся побывать на сенокосе. Кирьке посчастливилось. Тишке же суждено было пасти утят, он так огорчился, что даже заплакал. Отец обнял его.

— Это тоже дело, Тишка. Не какое-нибудь баловство. И опять-таки Кирька для копновоза полегче. Что поделаешь.

Кирька сел в лодку первым, занял

самый краешек носа, где можно было устроиться только маленькому. Он глядел на убегающие берега, на кудрявые и пышные острова, синюю воду, в которой мелькают розовые, фиолетовые камешки. Но вот лодки ткнулись в берег, и он первый выскочил на хрустящий галечник. Люди тащили к назначенному табору узлы с постелью, котелки и чайники. Скоро завилась спешная работа до позднего часа: надо было изготовить общий лабаз, таганы, каждой семье свой шалаш, шалаш девичий, шалаш для парней, стойки и вислы для инвентаря. Скоро выросла улица шалашей. Мать взяла Кирьку к себе, но сверстники упросили ее отпустить его в общий шалаш. Она сама осмотрела место и велела спать рядом с Ромкой.

Утром разбудил Кирьку отец.

— Еще одного работягу надо доставить на остров,— сказал он,— садись-ка в лодку да поедем на ту сторону.

Кирька сбегал на берег, сполоснулся, утерся подолом рубахи и был у лодки. Будто все семейство тут, разве Надя — сестра не пришла, так она, правда, с великой неохотой, осталась дома с Тишкой и приедет только к половине сенокоса подменить мать.

— Не гребывал еще?— спросил отец. — Ну учись, погребай, как умеешь, а я тебе на весле помогу.

Отец, сидя в корме, не греб, а как бы купал лопастые концы весла, чуть дотрагиваясь воды, а лодка шла ходко, рассекая синюю воду, и далекий берег в сосняке и березняке все приближался, поднимался. И какой же работяга поджидает их на этом берегу? Лодка сунулась в берег, из кустов вышел Миша Топтуха.

— Лови ее, я тебя, дядя, жду все утро,— возбужденно заговорил он.

— А много ли утра-то? — поправил его отец.

Утра, верно, было мало, солнце только выплывало из-за горы, и Миша, почуяв зряшность горячки, вернулся в березник и вывел оттуда работника. Это был Серко.

— Дак это как же его поплавим? — спросил недоуменно Кирька.

— Да вот так: положим в лодку, на него посадим тебя и поплывем,— засмеялся отец и обратился к коню.— Ну, давай, Серый, хоть и старик ты, да не впервой тебе реку мерять. Миха, ты в греби. Я коня держать буду.

В поводу отца конь было заупрямился, оглянулся вправо, влево, деваться было некуда, он шагнул к воде, понюхал ее и тяжко, всем животом, вздохнул. Поднял голову, чтобы измерить ширь реки и отважно шагнул в воду за лодкой и отцом, сидящим в корме и держащим повод. Конь погрузился весь и вдруг как бы провалился, испуганно всхрапнул, и осталась над водой одна голова с острыми ушами. Раздулись ноздри. Краснела цепкая, сильная отцова рука, много раз обкрученная поводом и как бы вздымающая голову коня. Кирька отвернулся, прикрыв лицо руками. Это заметил Миша.

— Ты, дядя, парнишку-то зачем взял? Такое дело ведь...

— Пусть и на такое дело поглядит. Ничо, ничо. Ему ведь на нем копны возить. Пусть пострадает маленько. Ничо.

Потом до самого острова Кирька не спускал глаз с коня. Казалось, что и конь смотрит на него, будто верит в него, Кирьку. Все будет хорошо. Из воды Серко вышел медленно, едва отдышался, огляделся на тот берег и трижды встряхнулся и отфыркался.

— Ну вот, все хорошо. Веди Кирька, путай его, своего работника.

На стане лежат волокуши. Это — две легкие березы, перевязанные третьей. На этой — три березовых вершинки. Кирьке работать на волокушах. Велика насмешка, если в сенокос ты привезешь последнюю копну, а пока бери в руки легкие палки и вместе со взрослыми мешай траву, шевели, вздыбливай, суши ее. Аромат молодого сена ударяет в нос. Кузька и Ромка не отстают от него, а впереди шумная артель парней и девок, среди которых то и дело слышен визг и смех, мелькают белые, розовые кофты. Тайны их недоступны и обережены. Парнишки подрыхлятся к ним, их отошлют:

— Туда вон подите, тот вон уголок подшевелите.

Как далек для них этот мир взрослых и как притягателен, особенно в эту сенокосную пору, когда семьи как бы смешались, стали друг другу ближе и понятнее. А день разгорался и обещал многое. Трава взрыхлена на всем види-

мом лугу. Отец ходит по ее волнам, пнул носком чирка — легка, пошарил рукой — суха, глянул на небо — ни одного облачка.

— Начнем,— громко говорит он и шевелит губами, шепчет, что ли? От берега, от ив и черемух пошла гнать зеленые валы пестрая артель. Парни толкают валы вилами, и скоро выросли высокие, подбитые у оснований стройные копны. Малышей кричит Миша Топтуха:

— Вот так. Ловите коней. Ты, Кирька, своего Серка. Ты, Ромка, своего Рыжку. Ты, Кузька, Карьку своего. Кто скорее запряжет! Умеете запрягать-то?

— Умеем! — кричат хором они, и летят по колючей стерне к стану.

Кирька хватает из мешка ломоток хлеба и идет к коню, пряча за спиной узду и протягивая руку. Серко водит ноздрями, всхрапывает, и ускакал бы он, спутанный, в кусты, да запах хлеба совлекает его шагнуть навстречу. Кирька помалу скармливает ему ломоток, а тем временем шею обнимает, узду накидывает, обхитрил Серка, и тому нечего делать, как шагать за парнишкой. С трудом Кирька забрасывает на спину широкое седло, знакомое по бороньбе, наталкивает хомут. Тут Андрейка подбежал: не под силу Кирьке оглобли волокуш поднять. Помог он запрячь и Кузьке с Ромкой и всех по очереди сажает в седла, повод подает и снабжает черемуховым прутом. Где-то еще не близко день сенокоса, когда кому-то из малышей придется привезти последнюю копну, горькую и бесславную, по которой будут месяц и два поминать несчастливца, называть не копновозом, а копноволоком, пальцем показывать и за ухо теребить. С этой-то тайной надеждой и поехали мальчишки к первым копнам. Самые проворные парни ловко сваливали копны на волокуши, привязывали веревками.

— Вези, Кирька!

Самые проворные мужики развязывали веревки у зарода, хлопали по крупу Серка, и копна сползала.

— Скачи за новой! — торопили мужики.

— Не шибко гоняй. Конь старый,— предупредил отец.

А Кирька только за кусты, прутиком подгонял Серка и приговаривал:

— Ничо, ничо! Хватит у нас силы, Серко! Выручи-ка, чтобы не проиграть. Выручишь?

Серко согласно кивал головой и трусцой бежал к новой копне. Антошка и Кузя с концами тащатся навстречу, улыбаются — игра только началась. Пока они тащатся, Кирька новую копну навалит, вон как бойко парни снарядили ее. Но и Андрейка, как отец, говорит то же самое:

—Не гоняй коня, жара ведь.

Другой парень добавил:

— Тише едешь — дальше будешь.

«Это как же так,— думает Кирька,— тише и дальше? Где тут правда? Так мы, Серко, навозим с тобой копен, придется, к стыду нашему, везти последнюю». К обеду конь был мокрый, от седелка и хомута шел пар и густой запах пота. Он так устал, что когда Кирька распряг и спутал, конь не мог скакнуть, а лишь водил боками и долго не припадал к траве.

Посемейно в тени шалашей и ив люди неторопливо ели. Спины рубах темные от пота, волосы сырые и всклоченные. Отец Кирьку не видит. Он вершитель зарода и вслух размышляет, как бы его не скособочить.

— Копен сорок еще вколотить можно, такая махинушка.

— Все пятьдесят войдут, дядя Проня.

— Тебе снизу видней,— устало смеется отец.

Не замечает Кирьку отец, тогда он вкрадчиво говорит, улучив паузу:

— Я, тятя, двумя копнами обогнал тех.

— А как Серко-то?

— Серко дюжий. Да я и не гоняю, силы берегу.

— Шагом, Кирька, шагом. Нагонять будут, можно уж рысцой,— сказал отец, будто разговаривал с ровней. Да как еще разговаривать в такую горячую пору?

Охота от жары залезти в балаган. Вон и Петруха растянулся в тени, и Гриха Банчиков храпит. Отец бороду задрал к небу, солнце набрало самую высоту и жгучесть, завалиться бы на весь средний уповод, как на заимке, да пора не та, каждый час дорог, а такому дню и цены нет.

— Давайте, мужики, поднимайтесь,— негромко, но требовательно говорит

отец,— давайте по местам,— и сам берется за грабли.

— Ты, дядя Проня, покою не даешь,— говорит Миша Топтуха.— Ты пошто такой-то? Дай часика три подремать.

Один за другим идут мужики к зароду, отец карабкается на него по вожжам, забрался, потоптался и грабли поднял.

— Подавай!

Поел ли Серко, забредший в самую гущу кустов, отбиваясь от паутов, но вот уж опять в запряге. Рысцой трусит к копне, понимает, что ли, он, что нельзя иначе, что все торопится сейчас: чернеет далекая туча у горизонта, табунок девок бойко сгребает сено, только платки мелькают, собачонка Марсик бегает и тявкает вокруг. Копны все дальше отбегают от зарода, все чаще мужикам приходится поджидать копновозов и поторапливать их. Серко взмок, но тут потянул ветерок и обдало прохладой и Кирьку, и коня. Кирька забыл считать копны, может, Кузька с Антошкой его обогнали. Вон какой веселый скачет с пустыми волокушами Кузька. Но в этот миг распрягись у него Карька. Дуга повисла на шее коня. Губы надулись у парнишки — вот-вот расплачется, а Кирьке хорошо, обгонит он приятеля на копну, не случись только с ним такое.

— Дядя Миша, — кричит Кирька у зарода, — не развязывается ли у меня супонь?

— Валяй быстрей. Все дюже, все крепко. Ты считаешь копны-то?

— Да нет!

—Вот те раз! Ты что — проиграть хошь?

Кирька торопит Серка и считает — до обеда двадцать, да с обеда пять привез, да пять от дальних березок, да от протоки три.

Подхватывает ветер, туча скоро полнеба закроет, и всюду работа ускоряется. Шумит сено на граблях девок, на вилах парней и мужиков. Отец бьется в поту, и на вершине зарода кажется маленьким. Он завершает зарод и уже положил несколько черемуховых вешал.

— Ну, как получается? — спрашивает он.

— Красавец получается, дядя Проня!

Отец уж угол другой обкладывает, правит его грабельками, взбадривает, обостряет самый хребет.

— Ах ты боже мой, ветрище-то, — стонет отец и все прихорашивает, прихлопывает неровные места, — дал бы хоть завершить. Эко не в пору! Как-то глуше стало шуметь сено, молчаливей девки.

— Еще одну копешечку, — просит отец.

Сердце Кирькино дрогнуло. Ему последнюю везти, он порожняком стоит. Но в сутолоке и беспокойстве никто проигрыша не замечает. А копешка рядом стоит. Бойко бросаются к ней парни, и копна на волокушах, копна у зарода расхватана навильниками. Вознеслись они над отцом, хватает их и укладывает последние. Приспускается на бок зарода и еще один навильник кладет на то место, где только что был сам где вытоптал ямку — затем скатывается вниз, встреченный десятком рук.

— Слава тебе богу, — говорят мужики.

Отец обходит свое творение, улыбается, сепинки сшибает с рубахи.

— Вот лобик надо бы покруче, — говорит.

— Да ты что, дядя Проня! Зарод — загляденье.

— Эко нарисовал ты его, дядя Проня!

— Ах ты, маленькая промашка, — повторяет отец, но видно по улыбке, что и самому отцу зарод глянется.

А туча уже над головами клубится, ворочается черная. Блеснула молния, и ударил гром, и как-то разом пошел зернистый дождь.

С граблями и вилами на плечах люди бросились к шалашам, обгоняя друг друга, приухивая и повизгивая.

— А кто последнюю копну привез? — спросил Антошка в темном шалаше.

Кирька молчал, может, в суматохе и в спешке проглядели, чья она была. Облегченно вздохнул, когда Кузька заметил:

— Последняя-то будет в конце сенокоса.

* * *

Было утро. Хвост тучи все еще темпел у края земли, но было солнечно и тепло. Никуда люди не торопились, вы-

лезали из шалашей и, потягиваясь, шли на берег умываться. Вчера парни толковали об Ильине дне. То-то ждала Кирьку радость — переплыть реку, подняться на гору к полям и лесам, прийти в село, к празднику. А там игра в мяч, беготня по веселому селу, купанье на курье, рыболовля — такая радость — уехать от шалашного неуюта, от комаров и мошек в покой и прохладу избы и сеновала.

— Позавтракаем — и айда, — сказал отец и пошел на берег ладить лодку, и Кирька увязался с ним. Они расставили потопни и сиденья, помазали дегтем уключины.

— А когда мы, тятя, назад? — спросил Кирька.

— Поглянулось тут? — засмеялся отец.

— Да нет. Тут хорошо маленько пожить, а много шибко тяжело.

— Где притомился?

— Я копны возил, — важно сказал Кирька.

— Бездельников на сенокос не берут.

Под общие суетные сборы отец подвел Кирьку к лабазу и достал мешок с продуктами.

— Так вот, Кирька. будешь тут сторожем. Вот тебе хлеб, молоко. Хватит на три дня. Да собачонку, Марсика, тебе оставим.

Не было в семье слов: «не хочу», «не буду». Сжалось сердце парнишки. Была бы тут мать, пустил бы Кирька молчаливую слезу, но она уехала раньше подготовиться к празднику. Все вокруг стало холодным, угрюмым и неинтересным. Но и подумать надо, не когонибудь, Кирьку отец оставляет тут, стало быть, работником стал и необходимым человеком. Едва переводя дыхание, спросил:

— На весь праздник?

— На весь, на весь. Фью! — свистнул отец и подбежала собака. — Вот так, Марсик. С хозяином малым тут остаешься. Карауль тут с ним хозяйство.

Была бы тут мать, она бы сказала:

— Ты что удумал, отец? Какой из Кирьки сторож?

Словно слыша эти слова, отец добавил:

— От матери гостинчик привезу. Пирог ленковый, пряник домашний.

С этой минуты Кирька будто никого не видел и думал о скором страшном одиночестве. Все сядут в лодки, отчалят и скроются за горой, а Кирька останется один, окруженный бессловесной рекой, среди кустов, балаганов, вил, граблей, кос.

Вокруг шли заполошные сборы, смеялись парни и девки, перебранивались бабы и мужики, укладывались и усаживались в лодках — Кирька стоял среди табора, оглушенный, очумелый и потерянный, подбадриваемый отъезжающими. Стоял с кусочком сахара и конфеткой в руках; едва слышавший наказы людей и не понимавший ничего. Вот отчалила одна, другая лодка, разлучно рявкнула гармонь, затренькала балалайка, прощально заголосили девки, уж лодки на середине реки, вот и у того берега замаячили на берегу живые точки людей, поползли на гору. Пустые лодки потянулись вдоль берега в деревенские верха, зацокали о гальку шестами, и скоро все размылось и опустело, и у Кирьки вырвался «ох», полились неудержимо слезы и вольный и громкий плач. Тут Марсик лизнул ему руку, нетерпеливо взвизгнул и так подскочил, что чуть не достал Кирькиного лица, а как парнишка присел на бережные голыши, облизал его всего, будто говорил: «Хватит тосковать, хватит мучиться-то, ты ведь не один, я-то зачем?» Марсик обнюхал следы людей и лодок, видно, тоже тосковал, но и понимал: куда сокрушеннее муки хозяина, и, забыв о себе, крутился возле Кирьки, бодро взлаивал, грозил кому-то и обещал, что им вдвоем будет хорошо. Табор охватила жуткая тишина. Даже ветра не стало, кусты молчат и, как мертвые стражи, обступили шалаши. Марсик заплетался в Кирькиных ногах, прыгал к самому носу, залился звонким лаем: по реке кто-то плыл вниз и скоро скрылся за поворотом. А Кирька все ходил по берегу и вглядывался в дальний сизоватый мыс, за которым спряталась деревня. Отчаявшись, бросил в воду щепу. С лихим проворством Марсик бросился за ней, поймал и подал ее Кирьке, блестя черными отважными глазами. Кирька бросил щепу еще дальше — Марсик и за ней бросился, достал ее, вернул парнишке и громко взвизгнул, будто ска-

зал: бросай сколько угодно, для тебя я все сделаю. Кирька прижал мокрую собаку к груди и почувствовал, что он не одинок. Куда бы Кирька ни шагнул, собака была рядом, бодро облаивала все вокруг, за пташкой погналась. Как стало смеркаться, Кирька полез в отцов балаган, укрылся одеялом. Тут же под него юркнул Марсик, и они, прижавшись, задремали было, но враз отлетел сон и полезли в голову страхи. Казалось, что кто-то ходит близко, брякает посудой, упали грабли, и Марсик выскочил наружу, залился звонким лаем. Кто-то скакнул тяжело, прыснул губами у самого лаза, и Кирька к великой радости узнал, что это Серко — так он прыскает в отличку от других коней.

— Это ты, Серко? — сжатый страхом спросил Кирька, на что конь тихо и кротко проржал, просвистел хвостом и топнул ногой, отбиваясь от комаров. Марсик вновь взобрался под одеяло и лизнул Кирькин нос.

— Неужто и конь сочувствует моему одиночеству, — подумалось Кирьке. Он пощипал ковригу в мешке и вылез из балагана.

— На, Серко, ешь, — сказал Кирька громко и отважно, чтобы все слышало вокруг, все испугались его голоса: — На, Серко, ешь! — кормил Кирька коня, отдавая ему хлеб по малому кусочку, чтобы дольше продлить время, чуя руками мягкие губы коня. Потом конь шоркнулся о Кирькино плечо, просил избавить его от комаров и голову наклонил так низко для этого. Кирька начал давить на глазах и щеках коня мошек и комаров, и руки стали мокры. Он отыскал в шалаше бутылочку с дегтем и смазал коню уши, глаза и подбородок, и Серко кивал в знак благодарности.

— Ну каково? Легше стало? — спросил Кирька коня.

Конь фыркнул еще и отскакал в сторону.

От этой встречи Кирьке стало легче. Под одеялом он крепко обнял вздрагивающего Марсика и успокаивал себя и его. Нет же тут ни домовых, ни лешиев, они дома остались. Нет и волков с медведями — те по лесам и по горам бродят. Незаметно Кирька уснул, а когда проснулся, солнце заглядывало в лаз балагана. Кирька отрезал от ковриги два ломотка, и они позавтракали с собачкой. Чем же Кирьке заняться? Не манили к себе ни рясная смородина и кислица, ни пустой берег. Кузька с Антошкой пошли сейчас рыбачить или в «старого князя» играют. Мать толкнет в спину отца: «Удумал, удумал оставить парнишку». Сядут за праздничный стол и вспомнят ли, что за ним одного Кирьки нет. Мать мечет на стол лепешки, в поту купается у печки, до него ли ей. Отец выпил праздничную рюмочку, покраснел от нее и вспоминает счастливый случай на реке, как он поймал тайменя в сеть и как тот чуть не опрокинул лодку. Андрейка с Тишкой нарядные бегают по улице. Только вечером, ложась, мать приохнет, заворчит на отца, и он рассерженно крикнет:

— Да будет тебе! Что он малый ребенок, что ли!

Какой же, верно, он, Кирька, ребенок, если умеет боронить, пасти утят, возить копны, ловить рыбу, да еще десяток других работ знает и хорошо справляется с ними. Ведь всего три дня — и опять тут будет шумно и весело, забудется обида, его похвалят отец и все десятинщики, вон сколько разного добра под его охраной сбережено.

— Похвалят, конечно, — неожиданно проговорил он вслух и испугался своего голоса, будто сказал кто-то другой.

А дума все уносила и уносила Кирьку в деревню. Он выбегал к воде и вглядывался в тот берег, не пашет ли там кто, не идет ли кто по горной дороге. Было тихо. Дальний мыс покрыт мглой, за ним деревня, и как бы увидеть хоть один дом, одно прясло, один колодезный журавль. Березка, на которую залез Кирька, низка, жидка, бойся, что сорвешься с нее. Вдруг осенило Кирьку — зарод-то вон какой! Его вершины едва доставали вилы, особые, зародные, с длинными черенками. С него увидишь все, и что за горами, и сам родной дом, поди, увидится с такой высоты. Связать, как делал отец, двое вожжей, размахнуться сколько силы, перебросить один конец, другой привязать к березке. Кирька принялся за дело, и вот уж он на макушке зарода — так высоко, что голова закружилась, как глянул вниз. Так далеко он вознесся над кустами, балаганами и над Марсиком, который

беспокойно бегал и лаял, осуждал, что ли, Кирьку за такую вольность. Открылась ему широкая синяя река. Серые берега убегали вдаль, утончаясь и теряясь из виду. В одном месте, где река обрывалась, виден был крутой мыс, и Кирька признал в нем родную гору Камчатник. Вот бы чуть в сторону отошла гора, и показались первые избы. Но и тому был рад, что узнал гору, узнал лес вокруг. А внизу омут, где Кирька ловил рыбу. Час и два Кирька глядел на ту гору, сердце его стонало от тоски и от того, что так и не удалось увидеть родной дом, колодец подле, крышу сеновала. Крутился Кирька на одном месте, пристанывал, и в голове пробегали жеребенок Чалик, куры и поросята, утята, которые под присмотром Тишкиным бегут, пища и переваливаясь, по переулку к болотцу. И сам не сразу заметил, что глаза мокры, а заметив, завыл вовсю. Заплаканный, спустился вниз и тут же был облизан Марсиком. Серко подскакал к парнишке, вытянув перед ним голову, просил стереть комаров и мошек, а не дождавшись, сам потерся о Кирькино плечо. Разморенный жарким солнцем, Кирька залез в шалаш и уснул крепко. Разбудил его шум ветра и гром. Молнии освещали сенную утробу шалаша. Дождь лил всю ночь. Утром из-за горы поднялось светлое и чистое, как умытое, солнце.

* * *

Долго длились три дня. Наконец, забрякали лодки, зашумели люди, с котомками и мешками расползаясь по своим шалашам.

Миша Топтуха первый глянул на зарод и ахнул:

— Дядя Проня! Гляди-ка что деется? Седло-то какое на зароде! Кто же его там умял?

Отец глянул на зарод, покачал головой, почесал загривок и поманил к себе Кирьку.

— Твоя работа?

Кирька понял, что свершилась беда. Вмятина на зароде, мало заметная его неопытным глазом, стала просторнее и глубже.

— Подай-ка мне вон тот прутик, — сказал отец.

Кирька еще не понимал, зачем нужна отцу тонкая лозина, и послушно исполнил приказание.

— Вот тебе за пакость, — и лозина несколько раз крепенько лизнула Кирькину спину и вдогонку еще обожгла задницу.

Испуганный и одичавший от боли Кирька бросился в кусты, всхлипывая и прислушиваясь к громкому разговору на таборе.

— Легонько-то надо поучить, — сказал Миша Топтуха.

— Надо словом, а не прутом, — ворчала соседка Фекла.

— А нет! Надо чтобы помнил свою ошибку, чтобы на век, чтобы науку получил, — твердил свое Миша.

— Счас-то и учить. Потом будет поздно, — сказал незлобиво отец.

Мать, чем-то занятая до того, торопливо прибежала и, узнав, в чем дело, набросилась на Мишу.

— Эх ты! Парнишонка три дня балаганы стерег. Как-никак сторожем был. Ну виноват, так что счас главнее? Он и без прута понял бы — ошибся. И ты! — Обратилась она к отцу: — Сообразил же в такую пору.

Тогда и отец поднял голос:

— Прутик учит, а годы лечат. Не делайте шума из-за пустяка. Все станет на место, а давайте-ка вожжи, полезу на зарод исправлять Кирькину оплошку. Гляди, Кирька, сколько ты сена сгноил. Гляди и запоминай. Где ты?

Кирька лежал в кустах и помнил одни материны слова. Три дня мучился и страдал он, ждал ласки и похвал, даже видел себя героем, награжденным праздничным пирогом и шаньгами, конфетами и пряниками, — и вот какой конец ожиданиям. Сквозь листву и ветки видел он зарод и отца на нем, снимающего пласт за пластом сырое потемневшее сено. Мужики разбрасывали его тонким слоем, разговаривали, поминали Кирьку, подсчитывали, сколько копен испорчено и велели отцу убирать поболее, а то гляди и загниет изнутри. Полетели на землю одна, другая вешала, красивый праздничный лоб зарода сник, понурился. Кирька закрыл глаза и задом отпятился подальше в кусты, посопел. Ему уже не плакалось, и новые муки, стыд, что ли, мутили податливое и слабое сознание. Был бы он побольше, оттолкнул бы лод-

ку и уплыл бы куда-нибудь на маленький дикий островок и обдумал бы в одиночестве, что случилось с ним. Если это сделать нельзя, то как быть ему? Не к матери ли пойти? Она, поди, бегает по берегу и ищет его. Кирька пробрался сквозь густые заросли смородины. Перед глазами мелькали черные крупные ягоды, сыпались под рубаху, на ноги — ему не надо ягод. Вышел на берег, забрался в лодку, и тут увидели его мальчишки и девчонки.

— Тебя же мать ищет, сбилась с ног!

— Да вон она идет!

Мать шла по хрусткому камешнику берега и уже видела сынишку, шарилась в глубоком кармане юбки, а как подошла, в первую очередь сунула Кирьке пряник — крашеного городского петушка, вытерла фартуком заплаканное личико его и поворошила волосы.

— Ну ладно обижаться-то. Чо уж. Ведь все и отец знают, не со зла же ты, а с недоумки. Какой спрос с тебя. Все так и говорят: что с парнишки взять? А ты поди-ка погляди, что тебе наклали за стороженье.

— Ничо мне не надо,— сказал Кирька,— домой хочу. Увези меня домой, мама.

— Домой-то, домой, а кто копны возить будет? Давай-ка отца нашего посадим на Серка. А? Что смотришь так? И выходит, что некому за тебя. А иди-ка в балаган да усни, там в головах и гостинцы. Проспишься — все будет хорошо.

«Пакость»— слово такое слышал Кирька и раньше. Но оно относилось к кошке или собаке. К Митьке, бездумному по малолетству. Потычут носом кошку, куда надо, пожурят ребенка за озорство. В ту минуту и в голову не приходило Кирьке, что дождь может испортить сено. Было высоко, мягко и уютно. Отцово наказание было первое. Неожиданное и скороспелое, помнилось оно не болью, конечно, а памятным трудовым случаем, душевной встряской, нужным опытом жизни. После стало думаться, что делать надо все с оглядкой и примеркой. Телом Кирька рос не бойко, но в тот редкий час душой он вырос на целый год. Потом шли год за годом, а Кирька все видел ту седловинку, ту примятинку на зароде, то великое смущение, какое поселилось в душе и осталось навсегда.

* * *

В утренний час дом огласился необычным шумом. Началось с того, что соседка Фекла поднялась над забором и, возняв руки, закричала:

— Марфуша! Наши с тобой вернулись. Побежим на берег!

Мать хлопнула рука об руку и выскочила на улицу. Фекла подхватила ее, и они побежали, тяжело размахивая свободными руками. За ними бойко пошли отец и сыновья. От лодки шли два парня. Их тотчас развели в две толпы, поотнимали у них сумки, шинели, вились вокруг них, не давая ступить.

— Ларенька! Ларенька! Мы все жданки порастеряли, а ты как снег на голову,— охала от радости мать и неудобно обнимала за шею старшака.

— Цел, невредим — и ладно,— успокоительно говорил отец голосом возбужденным и клокотливым.

— Ноженьки-то все отбил-отколотил по этим верстам,— пристанывала мать.

— Да уж чему-чему, а ногам досталось, это верно, мама,— сказал сын, и все глянули на его стоптанные, расплывшиеся, хлопающие в голенищах сапоги.

Брат Кирьке показался каким-то быстрым, круглым и вольным в слове и в движении. После уж за столом мать напоминала малышу.

— Это крестный твой, Киря, кокой его называй, кокой Ларей.

Но Кирька перерос время, когда можно было приучить этому слову. Оно показалось ему смешным, да и брат сказал:

— Ладно с этим кокой. Зови меня братя Ларя.

Чувствовал Кирька, что жила в старшем брате какая-то особая привязанность к нему. Садился и он за стол подле старшака, опирался, как и он, локтем в столешницу, так же ложку отталкивал от себя, поевши, не полюбил в лапше лук, в пирогах капусту, как их не любил Ларион. Скоро Кирька заучил все песни, привезенные братом с Украины, и распевал их в избе и на улице. Кто-то вспомнил из старших, что в детстве Лариона баловали, старшего сынка, лелеяли, позволяли вольности и грубости. Он мог метлой отхлестать старшую сестру и прогнать ее со двора в избу, а на жалобы отец только похохатывал. Как же!

После двух девок родился сын, наследник. В двенадцать лет Ларька пас лошадей и не уследил за стреноженной кобылой. Она подскакала к воде, сунулась в нее и не способная поднять голову захлебнулась и издохла. Отец пальцем не тронул наследника. Вольность-то Ларионова была не столько новая, красноармейская, сколько старая, досолдатская, к которой он вернулся снова. А может, вольность упала на вольность, и ребятишки, привыкшие подчиняться слову отца, пережили резкие перемены в семье. Отец было начал уступать первенство сыну, хотя словесная распояха и самоправное хозяйничание отцу были не по душе. Стали возникать короткие, скоро погасавшие перебранки, приносившие затем необычную тишину. Брату не нравилось, как живет в городе сестра, не нравился муж ее Семен, считал ненужными и иконы и, не смея снять их, пристроил рядом портрет Маркса. Не нравилось ему прошлое отца с матерью.

— Черт знает, что тебя совлекло завести эту торговлишку,— говорил он отцу.

Тот отмалчивался, подстригая перед зеркалом седеющую бороду.

— Одни бутылки на чердаке остались от твоей торговли. Ну что, богатым, что ли, захотел быть?

— От бедности убежать, так-то будет вернее,— вставлял короткое слово отец.

— А мечтал, поди, мечтал же. Через патоку да воньких омулей, через подковы да гвозди стану купчиком-голубчиком. А?

— А по чо же бы и не помечтать? — огрызался отец, едва сдерживаясь.

— Ага! Мечтал! Так, так. Поди, высокие хоромы видел на месте нашей избенки. Поди, кареты видел, карих коней, сбрую серебряную. А? А что бы тебе сказала нонешняя Советская власть? В число бы врагов записала она тебя. Да попомни, она еще накажет тебя за эту торговлишку.

— Да что ты ко мне привязался! — вспламенялся отец и бросал ножницы на стол. Всклоченная, неподобранная борода его вздрагивала, глаза зеленели. Он принимался бегать по передней, падал на курятник, вскакивал с него шумно.

— Советская, советская! А что она принесла, эта советская, мне, мужику? Ты вон надулся на фронтах-то гражданских всякими отречениями, а нажиток-то твой какой будет?

Наверное, в ту пору принеслись в семью слова «политика», «буржуй», «бедняк» и «кулак» и многие другие. Отец после такого спора как-то смягчался и отходил, удивленный смелостью и умом сына.

Мать обижалась на сына горше и больнее и долго не входила в покойную семейную светлость. Ни с того ни с сего он вдруг замечал в окне створочку, непривычную для деревни. Породили ее те же великие хлопоты вокруг торговлишки. Отец прогорел с нею с треском. Подковы, гвозди и мыло никто не покупал, потому что в самом селе и без него было три лавочки. Из купца получился пшик. Надо было продавать корову и покрывать долги, а семью оставлять голодной и холодной. И вздумалось ей заняться перекупкой вина. Сшила она перевесную суму и за восемь верст бегала в «монополку». Несла в суме две четверти спереди, да две сзади. Ночью мать открывала створку и подавала «мерзавчик» или бутылку какому-нибудь подгулявшему мужику.

— Мать,— говорил Ларион капризно,— надо убрать эту прелесть, эту память о вашем прошлом. Это ведь какую славу имела — шинкарка.

Мать стала было сыну объяснять, что заставила ее шинкарить великая нужда, но сын заорал:

— А почему триста мужиков, триста баб этим не занимались? Тоже захотела разбогатеть? Черт бы вас забрал с этим богатством.

— Да какое же богатство, сынок, концы с концами сводили. Разве забыл, в какой нужде жили. Я ведь старика отца от тюрьмы отвела.

— Спекуляцией? — возвысил голос Ларион.

— Спасаться ведь надо было. Ох, что он говорит,— мать осеклась в голосе и повалилась на кровать.

— Ох, ох, его же спасала. Война же кругом, а вас вон сколь. Ой, Ларька, Ларька!

Ларион хлопал дверью и уходил на сборную.

Кирька знал, в соседских семьях тоже спорят, ругаются, а то и дерутся, но все из-за привычных крестьянских недостатков и забот — кому на мельницу, кому

за дровами ехать, кому седелко или хомут починить. В его доме зажили споры иные, непонятные, и заставляли тихо залезть на печь, отыскать щелку между лукошками и затаенно глядеть на разгоряченные лица брата и отца. Они не сыпали друг в друга бездумные и случайные слова, а искали мудреные и нездешние и порой, неспособные их найти, пыхтели и вскряхтывали, суетно бегали по передней, а Кирька затаивал дыхание и ждал благополучного конца спора. Чаще отец не находил нового слова, его охватывало волнение, подступало заикание, махнув рассерженно рукой, он с каким-то детски обиженным лицом убегал на улицу, а незримый Кирька сжимал кулачок и грозил им брату.

А ведь как попервости радовался Кирька возвращению брата. Он и спать-то перешел к Лариону, который убрал от заборки фикус, смастерил лежанку, клал крестника под теплое красное одеяло, пахнущее нафталином, и прижимал к себе тяжелой сильной рукой. Тишка и Андрейка прозвали Кирьку бараном: они оставались спать на полу под шубенками.

Но колючие и обидные слова Лариона, как пришельцы из чужой жизни, затемняли сердце парнишки и настораживали. Все тяжелее казалась рука брата, обнимавшая его. Ему казалось зябко и стыдно лежать под теплым новым одеялом. Ночью он просыпался и прислушивался, как покашливал и ворочался на курятнике отец, как пугались и всклахтывали куры, и отец ворчал, будто продолжал свой дневной спор. Той памятной ночью Кирька тихо выбрался из-под свинцовой руки брата, прижался остывающий к горячей печке спиной — к кому присунуться: к матери, к Тишке с Андрейкой — они сладко спят и похрапывают. Кирька по стулу забрался на курятник и подлез под отцов тулуп, лбом коснувшись его коротко стриженной бороды. Отец не спал и ровно ждал сынишку: ноги его подтащил к своим горячим, полу подтолкнул под бок его и прошептал на ухо:

— Экой ты, брат, большой стал. Помощник.— И добавил: — Однако фартовый будешь.

* * *

С приходом Лариона дом Бояркиных стал шумным и многолюдным. Шли к ним мужики со всех концов села, усаживались на кукорки у порога, закуривали и вели долгие споры. Отец, лежа на курятнике и подложив руки под голову, ронял натужно слова.

— Достукаешься.

Это было сказано для Лариона.

— Как это я достукаюсь? Я Перекоп брал, пять лет вшей кормил и после этого я достукаюсь?

Отец бросал короткое слово:

— Перевернут вас.

Мужики дружно хохотали, кивали на сына и отца и подмигивали.

— Ты Перекоп взял. Я Порт-Артур сдал,— заикаясь и горячась, вздымаясь на локтях, перебивал сына отец.— Всю жизнь сдавать да отбирать. Эко он вернулся с навечно завоеванным.

В таких тонах и красках велся разговор, и ребятишки были к нему не безразличны. Споры надолго влетали в их головы, память наполнялась какими-то шумами, битвами, тревогами. Санки, ледяные просторы и коньки сменились «кровавыми» сражениями на Юдиной горе. Наступали красные, наступали белые, и там и тут из носа текла кровь — и задача выполнялась. Кровь из носа — слова эти звучали воинственно и преславно.

— Ага! Кровь из сопатки пошла. Ну ударь, ударь, чтобы и у меня.— Мальчишки размазывали кровь на лице и в таком виде являлись домой.

— Батюшки! И этот с фронту пришел! — встречала мать Кирьку.— А где у нас ремень, отец?

И подтаскивала сынишку к умывальнику.

Всю зиму Ларион крутился в сельсовете и мало помогал по дому. Раз привел за рукав вахловатого, молчаливого парня и сказал сестре Наде:

— Этот, что ли, приглянулся тебе? Дак что медлить, выходи за него. Он согласен. У нас нынче любовь свободная. Никаких сватов, никаких тысяцких. Забирай, Ванька, если нравится.

Так не стало в семье сестры. А скоро появилась «сестричка» — так братья стали звать Дуню, которую привел Ларион. А сколько было уговоров, чтобы все было по-хорошему.

— Ну, Надька как-никак со своим в церкви побывала. А ты? Как жить-то бу-

дешь? — охала мать.— Ведь так кошки, собаки... Ты человек, ты крещеный.

— Съездим, распишемся — и все,— отрубал из боковушки Ларион.

— Ну хоть для близиру, для людей стань под венец, Ларька. Ну для нас перебори себя, смягчись маленько. Так ведь и девку за тебя не отдадут.

— Отдадут! — заявлял и похохатывал сын.

— Ну смотри, парень. Ново-то ново, да как бы оно боком не вышло. На нас тыкать пальцем будут. Ой, прославимся, отец, с сыночком-то.

— Со временем все перемелется, все в норму войдет,— говорил сын,— а вот такая моя воля — свобода. Так хочу, и баста!

Дуня, светловолосая, улыбчивая девушка из-за речки, деверям пришлась по сердцу, и как-то незаметно и просто прижилось слово «сестричка». И зазвучало оно в избе, в ограде, на улице. На него она бойко отвечала:

— Что надо, Тиша, что надо, Андрюша?

— Во всем ей помагайте,— учила мать,— вишь, какая она заполошная — за все хватается: запрягать, доить, мешки таскать. Экая бойкая, во всем заменит Надьку. Ну, слава богу. Может, и без церкви обойдется.

А Дуня, словно затем и пришла, чтобы без конца работать. Металась по двору, кормя поросят и корову, тащилась в избу с большим беременем дров, щепала лучины на затопку и как-то вдруг останавливалась и оглядывала избу, улыбалась: что бы еще поробить?

— Мамонька! — ласково и напевно произносила она непривычное слово.— Дайте я замешу хлеб,— и не дожидаясь согласия, снимала с печки квашню, с полки сито, занимала делом просторный стол.

— Неужто и хлебы печь умеешь?

Дуся только похихикивала и кружилась, кружилась на кухне как заведенная. По рекоставу засобирал отец ребятишек в лес. Первый раз готовился в такую поездку и Кирька. Накануне примеряли для него разную одежонку.

— Чо я, чо на тебя натяну? — приохивала мать.

— Да не замерзну я,— заявлял Кирька, боясь, что вдруг раздумают родители и оставят его дома.

В голос Кирьке и Дуня заявила:

— Тятенька, я съезжу с ребятишками. Прослежу за всем.

Это было совсем неожиданно и неприглядно — невестке ехать в лес за дровами? Не было такого случая в деревне, чтобы девка или молодуха отчаивалась ехать в лес. Правда, ездили в лес вдовы, но им судьба лихая военная повелела нести на плечах тягость мужскую. Но и они ездили не далее березничка, что за селом. А тут за реку, в тайгу, за далекие версты.

— Да ведь как-то не к лицу нам, невестушка, во все-то толкать тебя,— сказала мать,— скажут, запрягли девку. Этого не надо бы.

Дуня загрустила, замолчала на целый вечер, а утром сказал Ларион:

— Пускай съездит. Не одна, с парнями.

— Отпусти, тятенька,— обратилась Дуня к отцу.

— Мне-то что. Ларька же отпустил.

— Экой потатчик,— упрекнула отца мать.

Дуня тотчас засобиралась, катанки горячие сняла с печи, да попутно и Кирькины растоптанные и толсто подшитые потником. Какие-то штаны Ларионовы натянула, шапку его старую, дошонку отцову.

— Ну вот я и собралась,— радостно оглядела себя Дуня.

Кирька надел трое штанов, потому что ватных, теплых, ему еще не сшили, поверх пиджака старый дырявый полушубок. С Дуней они выглядели круглыми и чурбанистыми и такими вывалились на мороз. С полверсты в Кирьке держалось избяное тепло. Потом мороз разом полез к груди и шее, к ногам и рукам и скоро сковал все тело. Эта утренняя зимняя темнота и монотонный скрип упряжи, и невозможность продохнуть жесткий душащий воздух, и страшная опасность пошевелиться. И Кирька испугался, подумав, что так и умереть можно. Ладно, прибежала Дуня, расшевелила его, даже вывалила его из саней, и Кирька едва сдержался от слез.

— Киря, догоняй! Киря, бегом!

Кирьке пришлось подниматься со снега и бежать, глотая жгучий воздух. Рас-

свет пришел только в тайге. Кирька бродил по глубокому снегу и грелся. Над вершинами сосен разливалась заря, и все вокруг становилось просторнее и шире. Казалось, звонче тут слышались фырканье лошадей, звон пилы и стук топора, писклявый и веселый голос Дуни. Каркнула ворона, захлопала крыльями, снежный бус присыпал жаркие щеки сестрички.

— Вот эту сушинку свалим, Андрюша,— по-хозяйски распоряжается она.

— Сыроватая,— деловито и со знанием оглядывает сухостойку Андрейка.

— Говорю тебе — сухая как порох.

Андрейка ударил топором по стволу, прислушался, покачал головой.

— Нет сухого звону,— Андрейке до взрослости еще два года, но ведет себя солидно, несмотря на мороз, шапку на бок сдвигает, гулко высмаркивается и прячет руки в лосинковые рукавицы.— С мерзлятинкой. Ну да будь по-твоему, сестричка.

Подпиленная сушина с хрустом падает, на срезе — сухая желтая сердцевина, и Дуня радостно хлопает ладошками.

— А? Что я говорила? Вы еще малы со мной спорить.

Сушины раскряжеваны, завалены на сани, затянуты веревками, скрепить завертками осталось. Дуня знает, как это сделать, но перестаралась, веревка лопнула, и Дуня полетела в глубокий снег. Девери отряхивают с нее снег, она громко и радостно хохочет.

— Ну, ребятишки! Ну, что бы поддержать невестушку!

Кони рывками выхватывают из сугробов сани, а вот и накатанная дорога.

О пенек Дуня разламывает калач и всем дает по звенышку. Застывшими губами Кирька обсасывает его, как пряник, дышит на него — зубы не берут как кость промороженный калач. По крупинке откусывает и проглатывает.

— Киря! — кричит Дуня,— ты за пазушку положи. Он скоро отойдет, тогда и поешь.

— Да ладно, не проголодался,— отвечает Кирька и думает о горячей печке, о щах, которые согреют его и уронят на отцов курятник заслуженно поспать.

Вечером, когда Дуня ушла к родителям, мать сказала отцу:

— Однако баба-то шибко удачная попалась.

— Работящая, что и говорить,— согласился отец.

* * *

В спорах и переменах прошла зима и подкатилась масленица. Ларион и тут поворчал:

— К чему эти предрассудки. Эти блины! Эти катушки!

Сам не удержался и пришел покататься. Горка длинная, пологая, начало еланской дороги. Темные вечерние елочки притихли по сторонам. Накануне привезли несколько бочек воды и полили катушку, и на ней легко скользят санки и лотки*. Шутя и играя, сваливают парни в снежную обочину пухлых девок, и слышится громкий и радостный визг. Дуня еще скотину прибирала, а Ларион отобрал у Тишки лоток и подкатил его к румяной соседской Маньке. В парнях, до войны, начинал он с ней погуливать, да девка без него успела выйти замуж, успела и развестись. Маньку он посадил к себе на лоток, скатил аккуратно и под горой успел поцеловать. А зайдя на горку, ее же приглашает к себе. Манька рада вниманию, но и куражится для всех.

— Ой, боюсь женатика! Ой, кабы жена не увидела! — отговаривается Манька, но и торопится сесть.

Катятся они, а навстречу, и правда, Дуня принаряженная идет. Увидела их и подумала: «Видно, ждал, ждал меня, да и посадил другую». А Ларька с Манькой в горку поднимаются и весело разговаривают, будто не видят Дуню.

— Садись, Маня, поехали!

Дуне ничего не остается делать, как просить деверя скатить ее под горку.

— А меня вон Андрюша прокатит,— громко говорит Дуня, чтобы слышал муж.

— А что же братька-то? — удивляется Андрейка.

— Братька седне другую катает, — упавшим голосом сказала Дуня.

Скатилась с горки она и тотчас домой пошла. Вернулась мать с улицы, а та в подушку уткнулась и ревет. Когда пришли с катушки ребятишки, дома бы-

---

— Лоток — из дерева корытцем выдолбленное катальное приспособление.

ла тишина и только слышно шуршание материной прялки. Прядет она и мечет гневные глаза на дверь. В избу старшак входит шумно, не входит, а вваливается: «Ох, ох, упарился», — шапку на гвоздь кидает, полушубок на лавку. Кудлатая прялка на полати залетела, мать подбоченилась, велит Лариону рядом сесть.

— Да я пожрать хочу! Погоди с разговорами!

— Пожрать успеешь, а сейчас садись вот сюда, говорю!

Сказано было твердо, приказно, будто Лариону всего десять лет.

— Что это тебе, мать, сбрело на ум. Молоко-то где?

— Я тебе дам «сбрело»! Я тебе дам такого молока!

Давно ли мать плакала от Ларионовых капризов, робко и снисходительно отшучивалась, смягчая и заговаривая вольное сыновье слово, а тут словно поднялась на другую ногу.

— Ну, что ты хошь сказать мне? — сидя боком к матери и не глядя на нее, пробасил Ларион.

— Я не сказать тебе хочу. Я поленом навозить тебя собралась. Что там на катушке было у тебя; сказывай!

Ларион колено на колено важно забросил.

— Это мое дело. Моя воля — свобода.

Мать к печке подскочила и взяла березовый свежачок. Держа его, как городошную палку, взвешивая в руке, остановилась перед сыном так воинственно и храбро, что все подумали: не видели еще никогда мать такой. Глаза ее пылали, морщинистые щеки тряслись, опавшую старческую грудь она выпернула вперед и грозно трижды притопнула подшитым валенком.

— Воля! Я тебе покажу такую волю! Палка вот эта походит по твоим бокам. Молчи! — грозно рыкнула она, когда сын хотел возразить. — Не знаю и знать не хочу никаких твоих Перекопов, пушек и винтовок. Начхать мне и на песни твои новые и на сказки бусурманские. Сейчас ты домой пришел и настала над тобой воля моя, материнская! Молчи! Ты, подлец, затем и в церкву не пошел, венчаться не схотел, чтобы надсмеяться над бабой. Экой хват нашелся! Нам всем по душе пришлась, ему одному не глянется. Ему краля эта, разводуха, вспомни-лась. А ведь сам привел, сам женил себя, а теперь что придумал?

— Да у меня и в голове... — начал было сникшим голосом говорить Ларион, но мать перекричала его.

— Молчи! Манька-то тут зачем, а? Слышь-ка, отец. В твоем или в моем роду было такое, чтобы кто-то женился да разженивался? Не было! Женились, чтобы жить, а не чудить и не куралесить. А ведь девку-то какую золотую привел. Дуня! Поди-ка сюда, нечего нюни разводить, а вцепись-ка ему в гриву, да оттаскай при нас.— Иди-ка, иди сюда!

Бойко Дуня вскочила с кровати, помятая и заплаканная, робко встала перед Ларионом.

— Не ты перед ним, он пусть встанет перед тобой. Встань-ка, встань, не отломятся ноги, — и мать дернула его со скамейки, так что волей-неволей пришлось ему подняться, ухмыляясь и почесывая затылок.

Ребятишки пучили глаза, отец нервно пожевывал губами, помигивал и пошвыркивал, он-то знал, какова бывала мать в трудную минуту жизни, а детишки открывали для себя ее новые качества.

— Проси-ка прощения у жены, что поглупел тот час, что дурь в башку вошла. И что никогда не случится с тобой более такого.

Ларион нервно всхохотнул, бросил короткий взгляд на мать, на отца. На Дуню униженно — смятым взглядом. Держался еще в нем какой-то слабый протест, но только и мог сказать:

— Да ну, мать, придумала же. Даже как-то...

— Стыдобушка берет? Так бы и сказал.

— В ребенка какого-то...

— Хватит, мамонька! Не надо, мамонька! — вновь заплакав, вскричала Дуня.

— Нет, надо! — вскричала мать и топнула ногой, отшвыривая палку к печке. — Он сын! Он должен повиниться.

— Ну, виноват, виноват, — коротко мотнул головой Ларион в сторону Дуни.

— Попомни, от беды, может, мы тебя отвели. Манька! Знаем мы эту Маньку! На пятого мужика за войну вешается.

* * *

А на другой вечер у Лариона и с отцом был памятный разговор.

— Ну вот ты, Ларька, все в сельсовете и в сельсовете. О чем вы там речи ведете, о каких таких великих делах? Ты погоди, не перебивай меня. Я выскажусь, а потом слово твое хоть на весь вечер. Вот сошлись вы один с поля, другой с сосенки. Приглядись-ка, кто там речи ведет. Сидят там лентяй на лентяе и лентяем погоняет. Они и ранее не отличали, какая правая оглобля у сохи, не отличали сита от решета. В нашем крестьянском деле умей только работать, сытость сама придет. Люби полюшко, думай о нем и делай для него, а что остается еще нам? А в сельской что отыщешь? Речи говорить, гумаги ворошить, пустопорожность разводить. В нашем деревенском деле сторонней послабки никак нельзя давать. Мы как заведенные от весны до весны, и перед нами всегда тысяча работ. В этом-то круговороте вся сила и вся сладость, сладость-то еще и от того, что не с мертвым, а с живым дело имеешь. Все живет, все растет перед тобой — хлеб, скотина, трава, лес, и ты, живой, живешь среди них. Они тебя учат, ты их учишь. Они живут всеми болями человеческими, а ты живешь их болями. И ты тут человек, чем где-либо в другом месте. Вот и подумай, Ларька, куда клониться. Если в речах да в спорах хочешь потратиться, — ступай в сельсовет. Увидят тебя, в город пошлют. Там речи длинней, хлеб даровей, рубашка дешевей, дом построен, и душа порожня, а ее пустую-то соблазны разные легкие скоро займут, и соблазны эти — гордыня, зазнайство, хвастовство. Ты вот повоевал и думаешь — дорогу себе к беззаботной жизни проложил. За что воевал? Да за легкую жизнь воевал? Власть моя, могу сложа руки жить. Экая мудрость жизни тебя ждет! Потом ты скоро скажешь: «Пусть пашет, кому надо. Дураков работа любит». И великое дело станет для тебя позором.

— Ну, хватит, отец, — перебил сын,— ты, видно, не понял ни времени, ни перемен. Да кто же нынче будет власть-то держать, если не мы, крестьянские дети, пролившие кровь за эту власть? А держать ее — значит, расти, развиваться, школы разные кончать, ума набираться. Не я займу это место, его займет другой, потому что занимать его так или иначе надо. Я считаю себя не дураком, чтобы занять его, иначе дурак займет, а от этого будет не легче.

Споры такие велись во весь великий пост и вечерами при лучине, потому что керосинец берегли. Тишка, Андрейка и Кирька поневоле были их свидетелями. Они, слыша спор, словно школу какую новую проходили. Не оттого ли даже Кирька стал приглядливее к жизни соседей. Ему стало интересно знать, так же или лучше, хуже живут они, умнее или глупее они Кирькиной семьи, о чем они спорят и думают, что едят и досыта ли. Кирька и раньше бывал в семье отцовой родни той же Бояркиной фамилии. У вдовы Василисы старший, Миша Топтуха, жил в отделе. Антошку Кирька знал по улице. А кроме их были еще Манька, Костя и Афонька.

И вспомнил Кирька, как в прошедшее рождество славить ходил с Антошкой. Залезали они с ним на полати разучивать молитву. В доме была нужда, теснота и сутолочность, но иные, чем у Кирьки — гуще, плотнее, краше. Еще со слов матери Кирька слышал, что нужда их держит за горло. В тесной низкой избенке — духота и стойкие портяночные запахи. С утра начинался визг и вой

— Где мои онучки? Кто взял мои онучки? — кричали ребятишки, наматывая на ноги копну разной рвани и натягивая рваные рыжие ичижки. Для тепла ичижки набиты сеном или соломой. Шубенки в дырах, штанишки — заплата на заплате, сами белобрысые, лохматые.

— У, вы, черти беспутые, — стоит у остывшей печки Василиса и ворчит на ребятишек. Она только с железной дороги, продала там солдатам мешка два соломы для матрацев.

— Где-ка, топор? Где-ка пила? Афонька! Ты седне дров готовишь. Иди, окаянный, стащи где-нибудь жердь. Простудилась избенка-то. Гы-гы-гы!

Дрова, верно, надо искать — выдрать чью-нибудь доску из забора, отпилить угол у своей избы, а то ночью и бревно чье-нибудь исшоркать. Так и гляди сосед, как бы не исчез твой запас тына, твоя слежка перед окнами. Оплошал —

все вылетит через Василисину трубу.

Что-то натолкал Афонька в печь — загорелось, пошло тепло по избе, и прежде всего, пришло на полати, и Кирька с Антошкой берутся за молитву.

Рождество твое, Христе, боже наш...

Антошка бестолков, ничего не запоминает, глух к пению и везет куда-то в сторону. Кирька поправляет его — вот так надо.

— А я как! — сердится Антошка. — Я не пою, что ли?

— Ты воротишь куда-то.

— Ладно и так. Как славить будем, ты станешь впереди, а я за тобой, только рот разевать буду. Все равно ты без меня не обойдешься — кто собак пугать станет?

На том и сходились, а Кирька надеялся на свою голосистость. Да и до разучивания ли тут было. Под полатями шел такой гвалт, такое шараханье, такие подзатыльники отвешивала Василиса своим сорванцам, что только треск идет.

Иногда Василиса приходила к матери преображенная. На ней был чистый белый платок и чистое платье. Серое конопушистое лицо сияет светлой улыбкой. Она отвешивает поклон и крестится на кухонную иконку, оглядывается, куда присесть.

— Снимай курму, кума, — приглашает ее мать, и она легко сбрасывает с себя коротенькую курмушку, откашливается, готовая начать разговор — с тем и пришла. Мать заваривает чай и лукаво спрашивает:

— Тебе, кума, хлебца ржаного или калачика?

— Все равно, кума. Ну уж давай калачика.

В гостях Василиса совсем иная. Дома рычит, тут поет и слушать ее не наслушаешься. Речь ее складная, в слове новая, и одно событие нижется к другому. Пьет она чашку за чашкой, рассказывает истории из своей иносельской жизни и, может, и привирает, да иди проверь. Мать иной раз усомнится, остановит соседку и скажет:

— Ой, кума, однако, это неправда.

— Да ведь похоже на то, но мне сказали, а я тебе говорю.

И пошла опять накручивать историю за историей, привлекая для того живых и не живых. Василиса лучше матери и отца знала родню, уходила во времени далеко и подбиралась деловито к ближнему. Выяснит, кто Иван Захарович, кто Захар Степанович, кто Степан Алексеевич. Чтобы доказать, что она не зря гостюет, подходила к итогу:

— Так вот, кума — Поликарп-то Иванович, мой отец родной, будет твоему Проньке дядя, а стало быть, мы с ним...

Мать уж не один раз слышала про это, но все равно качает головой, соглашаясь и поджидая конец рассказу, а Василиса без передыху начинает новый.

— Польку-то Зуевскую знаешь? Она приходится сестреницей мне по матери. На днях слышу, другой рядь замуж вышла. Да с тремя-то ребятишками!

— А у тебя намного ли больше, — идет мать к концу застолья. — И ты выходи, кума.

— Да вот я и говорю. — Ищи мне жениха. Хи! Хи! Хи! — расхохочется Василиса и поднимется с места. — Ой, засиделась, ой, бежать надо к своему табуну.

Слева жила Клестова Фекла с двумя дочерьми и пятью сыновьями. Целыми днями Фекла сидела за кроснами и била, грохотала ими, зарабатывая копейки на большую семью. Эти имели коня, и сыновья по очереди ездили за дровами в соседний березничек. Потом рубили тонкие деревца старым источенным топором. Старший сын Яков ушел в дом, или как шутили в деревне «вышел замуж». Иван вернулся с войны, отравленный газами, и скоро женился. Женился и Егор, и началась свара. Сперва они делились и не могли разделиться в избе, с шумом вываливали на широкий, пустынный двор и так кричали, что скоро прясла и заборы обрастали любопытными соседями. Братья туда-сюда толкали телеги, сани, рвали из рук друг друга хомут, седелко, шлею. Тетка Фекла бегала подле них заполошная.

— Ой, сыночки, ой, Гошенька, не деритесь. Ой, поделите вы эти злыдни тихо-мирно!

Мира не получалось. Летела дуга и оглобли. Десять рук держались за узду Гнедка, и начиналась драка под соседское воздыхание и подухивание. Дрались

свирепо. Мать и сестры бросались разнимать, их отшвыривали и деловито продолжали гвоздить друг друга по головам, носам, глазам. Уставали и садились на телегу и сани, поглаживали синяки и царапины, молчаливо разбредались в разные углы двора, и наступала тишина у Клестовых дня на два, на три. Наконец, разделились — кому конь, кому сбруя, кому телега.

Против Бояркиных жили Аксиньины — тоже большая семья. Отец Васька, курносый, голубоглазый мужик и мать Аксинья, по ней и зовется семья, красивая цыгановатая баба, замученная семьей. С пасхи до пасхи ребятишки носят одни и те же рубахи. В пасху, как дикошарые, носятся по переулкам в новых синих, голубых или красных сатиновых рубахах, дивясь и радуясь обновке.

Подле них живет деда Митя и бабка Анна со взрослыми сыном и дочерью. Деда Митя знает одно дело — сидеть на бревнышке и курить. Светлая струя слюны стекает по чубуку и капает, старик то ли спит, то ли думает бесконечную думу. Сын промышляет охотой, но чаще спит на сеновале и сходит с него на улицу, не стряхнув с себя соломы. Но раз удивил деревню: принялся красить церковь, и с тех пор стоит она покрашенная от креста до колокольни, на остальное духу не хватило.

Такими глазами Кирька на мир большой глянул — на улицу, на соседей своих — и умом своим малыш решил: куда складнее, дружнее и надежнее живут они сами, и нет у них такой нужды и немочи. Живут они лучше, думал Кирька, стараниями отца и матери, от них все в доме кружится, движется, беспокоится. Раз Кирька отважился спросить отца:

— Ты пошто, тятя, не выйдешь на бревнышко, не посидишь, как деда Митя!

Отец засмеялся, ответив:

— Он курит, а я ведь не курю.

А мать сказала:

— Смолоду непривычны сидеть сложа руки.

А вечером, ровно надо было ей продолжить ответ, заговорила:

— Мы смолоду зацепились за землю. Надо было смолоду зацепиться. Смолоду поле свое расширять. Десятинка к десятинке, ко ржe пшеничка, а там и два коня понадобилось. А где два коня — знай, что корни твои окрепли.

О соседях мать сказала:

— Не успели ухватиться ранее. Не дружно везли. Один коренник не повезет, пристяжка добрая нужна. Или пристяжка изнемогает: коренник ленив, хитер. Мы с отцом крепкой парой везли воз свой. Я тащу сноп, он два. Я два, он четыре. Так и работали, гужи не спускали.

Отец добавил:

— Ну, Василиса, Фекла — вдовы, откуда силе взяться. Тут не с кого взыскивать. А вот Васька с Аксюткой — ума маловато, нечем распорядиться. Он — оглобли не сделает, она — репы не посеет. Митька с Анной — лентяи укоренелые. Конь голову не подставит, так и коня не охомутают. А ведь как не стыдно бежать за куском хлеба. «Тетка Марфа, хлебца дай, ну хоть копытце». Да это сколь раз он будут бегать за копытцемто? У нас своя орда. «Да вот как-то умеете жить, без хлеба не бывает, а тут». Да отдавали ли они когда эти копытцато?

— Отдать с новым урожаем обещают уж какой год.

— Как в лавочку идут, — ворчал отец, — потакай, потакай им. Они скоро и за стол без спросу сядут.

— Да ведь какая гольная нищета, как не дать.

— А нищета-то отчего? От лени. Иной раз глянешь — им руки некуда девать: то подбоченятся, то назад их забросят, то на затылок да эдак потянутся, — язвительно засмеялся отец, но тут же осекся и погрустнел,— смеемся над такими, ну и сами такого имеем. Да, вырастили, вынежили, первачок. В кого он такой, мать? Солдатская ли беззаботность такого сделала? На всем на готовеньком.

Ларион утром со всеми садился за стол, аккуратно приходил обедать. Ужинал всегда один, приходя из сельсовета или от друзей. Не замечал и того, что Дуня работала за двоих, с какой-то легкостью выполняя любую работу. Видно, родители побаивались, как бы Ларионово равнодушие к хозяйству не перешло на малышей, косились на старшака, когда он нахлобучивал шапку и натягивал по-

лушубок, но раз отец остановил его:

— Погоди-ка уходить. С ребятишками пшеницу повеешь.

— Такого пустяка без меня сделать не можете, — ответил Ларион, запахиваясь.

— Мешок — пять пудов. Пустяк ли это для них?

— Мне надо помочь с налогом разобраться.

— Завтра разберешься. Поработай и дома, а то вовсе от дела отбился.

— От какого дела? — возвысил голос Ларион. — Это ты называешь делом? Толкую, толкую, а вы все понять не можете. Мое дело там, а не здесь. Там! Да и не век же чертомелить на земле, а тем более бойцу-фронтовику. А путей открывается — даже голова кружится. Предсельсовета, это самое малое. Изба-читальная, тоже не из сладких дело. Кооператорская работа, заводишком бы каким руководить, ну хоть банно-прачечной, а может, завмагом — да мне открываются тысячи разных дел, только не плошай, только бы голова работала, а у меня она, кажись, для того и на плечах. Вот так, отец.

— Да-а, — протянул отец. — Неужели ты у меня отрезанный ломоть?

— Отваливается ломоть, а видится булка крупитчатая. Да что видится — дается в руки. Ну как: хошь булку белую есть или тебе ломоть черного хлеба скуснее?

— Ломоть, добытый горбом своим, скуснее, — стоял на своем отец.

— Тогда у нас с тобой разные дороги, — сказал Ларион и хлопнул дверью.

Весной брат из дому исчез, оставив Дуню работать за двоих. Слышалось, пристроился он то ли в милиции, то ли в суде.

На третий день пасхи Бояркины выехали на заимку. Перед тем отец с Андрейкой целый день провозились под сараем, налаживали плуг, делали новые постромки, отточили плужный нож так, что карандаш на нем зачинить можно. Пасха пасхой, а дом зажил в каком-то радостном ожидании и тревоге, словно готовился к сражению или к какому-то иному подвигу.

Год назад выехал отец с сыновьями в поле, сел на коряжку и повел разговор:

— Вон ложок-то, видите? Это было наше первое поле с матерью. Велико ли? Осинка, березка там росли, не бог знат какой крепкий лес. Там мы первый раз плечи набили, клочок этот от леса очистили. А рожь какая выросла! Какая рожь, помню! Ну вот. А эту горку брать пришлось еще трудней, сосняк пошел. Из этого лесу мы баню с амбаром срубили. Это когда уже Ларион был. И пошло расти поле по ту, по эту сторону ложка. Вас больше — и поле растет. Правда, пнистое поле, да ведь сосны огромные, где одному выворотить, а вы все малы. Так вот и кормило, кормило и одевало это поле нас. Теперь бы, ребятишки, ровнинку вон ту взять, тот лесок пошевелить, не бог знат какой уж он, не лес, а подлесочек.

Вихрастый белобрысый Андрейка, ему было лет пятнадцать, сказал отцу:

— А ну, тятя, пойдем поближе, что там за лес, может, и осилим.

Лес был старый и ядреный и такой густой, что березы от вялости склонили вершинки до самой земли, и от густоты же было порядочно сухостоя. Чтобы подбодрить отца, Андрейка сказал:

— Ну это, тятя, год работы — и чисто будет.

— Год целый — разве мало?

— Ну и мы за год тоже подрастем, поокрепнем. По силам нам будет и залог драть.

Малый ростом, жиденький Андрейка бухал ломом и мотыгой в те дни, когда наступало ненастье и пахать было нельзя, зато легче шла корчевка. В каждый свободный час шел отец с сыновьями в этот лесок. Какие силы были в Кирьке, но и он таскал сучки к грани поля, подносил то пилу, то топор. Помалу готовилась земля под залог.

И вот пришла новая весна. Неделю Гнедуху и Серка Андрейка кормил доброй мучной мешанкой и сбереженным на этот час овсом. Кони обрюхатели, закруглели. В глазах их появился блеск, будто знали они, что ожидает их нелегкая схватка и тяжкие дни. Отец сбегал на реку и принес добрую сумку хариусов. Их посолили и склали в березовые туеса. В такой же туес мать налила топленого молока, а в мешок наклала картошки.

Ранним утром были уже в дороге.

Гнедуха широко ставит ноги от туготы тела, всхрапывает, прыскает губами, Кирька едет верхом на Серке, запряженном в плуг. Коням легко и радостно в чистых, просушенных и выбитых от пыли хомутах и седелках, бодро от овса и сладкой мешанки.

Не первыми ли Бояркины выехали в поле? Слышалась ранняя вешняя тишина. Пусты и тихи деревья по обочинам. Пусты поля, одна озимь ярко зеленая и курчавая. Пусто небо и зябко как-то, будто не вся еще ушла зима, а прихоронилась где-то. Свежо, светло, просторно. Подсохшую дорогу прогоряют первые Бояркинские колеса. В оврагах и перелесках белеет нестаявший снег, а что-то ждется — вот грянет, вот разольется широко и буйно зеленое царство. Все впереди, потому что впереди тепло, солнце, лето. Мягко плавает под Кирькой спина Серка, некованые копыта хлопают по неторной дороге, словно считают сажени. Миновали Ближние и Средние заимки, потянулась Морозовская падь. Вот еще две-три ложбинки и покажется их просторное поле, а там и куст черемуховый.

— Что, Киря, не видать еще? Цело ли наше зимовье?

Кирька вздымается на седле и вовсю кричит:

— Цело, тятя! Крыша показалась!

Одолели бугорок, и открылось зимовейко, почерневшая поскотина вокруг, серый омет соломы на гумне, таган с прокопченными вешалами, пробитая снегами и дождями зола под ним. Кирька вроде здоровается со всем, что оставил прошлой осенью. Кирька соскакивает с седла, и поплясав чтобы размять ноги, раздергивает супонную петлю, опускает чересседельник, ловко снимает гужи с дуги и оглобель. Дугу ставит к колесу плуга, и вот хомут и седелка сушатся на тележке плуга. Отец и братья хоть и заняты своим делом, а все же нет-нет да и поглядят на младшего и похвалят.

— Дело, Кирька, дело! Нигде ошибки не видно. А теперь куда коня деваешь?

— Спутаем. Пусть пасется, — бойко отвечает Кирька.

— Дак пастись-то на чем? Голо, травы-то нет, — говорит отец. — Рубите-ка с Тишкой овсяную солому да мешанку делайте, мучки не жалейте.

Кони дружно принялись хрумкать мешанку, а у таганка порхал малый костерок, и на крючьях болтались котелок с картошкой и чайник.

Отец обеспокоен завтрашним днем.

— Ты, Андрейка коней не дергай. Пусть они сами втягиваются в работу.

— Дак ты меня опять в поводыри?

Андрейка супится и решительно заявляет отцу:

— Ты меня, тятя, к плугу ставь. Хватит тебе мотаться за ним.

— Тебя к плугу! — захохотал отец. — Да знаешь, что такое залог драть?

— Пока не пробовал. А сколько ждать?

Отец покомкал в руках сынову руку повыше локтя — Андрейка напряг свой малый бицепс, твердый, как камешек, и глянул испытующе в глаза отцу.

— Ладно, — согласился отец. — Дам тебе подержаться. Жарко будет. А коли удержишься — валяй. А пока зимовейко обогреем. Вылежимся, выспимся. Завтра я вам каши с маслом сварю. Подниму вас с солнышком.

Утро зябкое. На крыше, на траве — иней. Изо рта идет пар: таков сибирский май. Но и за час, в который ели, кормили коней и запрягали, обогрело и отстоялось безветрие. Сакковский плуг, недавно купленный за первые красные червонцы, посверкивал зеленой краской. Нож у плуга такой острый, хоть брейся.

Кони, словно им сейчас в бой лететь, всхрапывают, подергивают вожжи, скрипят упряжью. Стоило Тишке за кнут взяться, как тут же дернулись и бойко пошагали по вешней дороге, изборожденной, как лицо старика, морщинками и трещинками. Уже видна «щетка», полоска земли в серой ветоши, кочкастая и ямистая. На краю ее отец повернулся к солнцу и застыл. Повернулись к солнцу и все три сына. Отец занес руки и троекратно перекрестился. С той же серьезностью перекрестились сыновья.

— С богом, ребятишки! Пусть будет у нас все хорошо. Первый пласт я сам отворочу. Веди коней, Тишка, вон на ту сосну, видишь?

— Вижу, тятя!

— А ты, Андрейка, за мной пласт уминай, чтоб он не падал обратно в борозду.

— Понял, тятя!

— Поехали!

Кирька нетерпеливо ждал, как это все получится. Сошник и нож вошли в дерно — и захрустело, захрумкало сочно, натужно. Черный маслено-жирный пласт, пахнущий кореньями и сыростью, выскользнул из-под ног отца, слабо опрокинулся и намеревался было упасть в старое свое ложе, но Андрейка с Кирькой поприжали его на ветошь и так, спеша за ногами отца, уложили его, парной и дышащий, на всей длине полосы.

— Стой! — крикнул отец. — Коням передых, а нам оглядка.

Отец похлопал по холкам коней, пошарил под хомутами и седелками, ласково потрепал, погладил морды коням, и они согласно покивали головами — знаем-де, знаем, на какое дело вышли.

— Ну, молодцы, молодцы! — понял их отец. — Давай, Андрей, берись за ручки, ты, Тимофей, веди коней. А ты, Кирилл Прокопьевич, будешь уминать пласты. Справишься?

— Ого! Справишься! Спрашивать не надо. А ты, тятя, сучки, корешки таскай на межу, — сунулся Кирька с советом, но отец его мягко осудил:

— Рано, брат, советовать отцу. Я пока вам советчик. Вот отойду в сторонку да погляжу на вас.

Кирьке выпала доля нелегкая — пласт валился и валился обратно, и требовалось от парнишки много усилий, чтобы остановить его падение, уложить на место и поспеть за Андрейкиными ногами, которые словно вытанцовывали тустеп, выделывали разные коленца. Да, Андрейке досталась нелегкая задача. Молод Андрейка, не в полную силу вошел. Пот бежит за воротник, нараскоряку ставит он ноги, чтобы не поборол его плуг, когда хватит за невидимый в земле корень.

— Тишка, куда ведешь? — перехваченным голосом кричит Андрейка. — Тишка, черт полосатый! Мать твою! Мать твою! — шепчет Андрейка, чтобы не услышал отец. Плуг наткнулся на крепкий корень, вывернулся из пласта и метнул пахаря в сторону. Не удержался на ногах Андрейка, растянулся на ветоши, крякнул и прошептал: «Твою, твою». И огляделся. Отец собирал сучки и будто не заметил сыновьей промашки, да и сам Андрейка не мешкая вскочил с земли и схватился за ручки плуга.

— Тишка, назад! Тишка, подпять!

Считай, что только начали работу. Парят на солнце четыре ряда пластов, а настала пора передыха. Кони едва переводят дыхание, жалостливо оглядываются. На холках белая пена пота. Под хомутами мокро. Братья сидят, спустив ноги в борозду и отпыхиваются.

— Ну, Андрейка, хватит с тебя?

— Постой, тятя. Дай еще подрать немного, — говорит Андрейка, размазывая дрожащей рукой пот на лице и шее. Он пытается скрыть усталость, но срывается с дыхания и кашляет.

— Черт те, першинка какая-то попала в горло.

— Добрая першинка, — смеется отец, какая она будет к обеду?

Рядом — старое, мягкое, поработавшее года три поле. Как же сеять хлеб в эти жесткие перевернутые пласты? Как тут хлеб вырастет? Кирьке охота спросить отца, но чтобы вопрос был не глупым, не раскрыл Кирькиных слабых познаний о земле.

— Тятя! — спрашивает он осторожно, — а ведь, однако, тут сразу ничего не уродится?

Братья смеются, а отец поясняет:

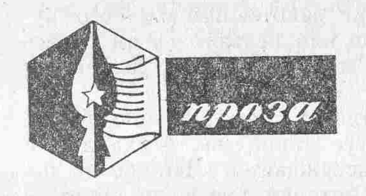
— Не вырастет, правда. А мы, Киря, на все лето оставим в покое этот залог. Пусть корни гниют, земля рассыпается. Придет новая весна, вспашем, забороним и тожно уж пшеничку посеем.

— Год целый ждать?

— Залоги зреют не разом. Земля разом не отдается пахарю. Надо ее успокоить, приноровить к новой жизни. Помочь ей потрудиться для человека. Ну, кажись, отдохнули. Поехали дальше!

1987

Алексей Васильевич Зверев родился в 1913 г. в с. Усть-Куда. Окончил Иркутский педагогический институт, много лет преподавал в школе литературу и русский язык. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. Автор книг «Далеко в стране Иркутской», «Выздоровление», «Раны», «Гарусный платок», «Как по синему морю» и др.



Борис ЛАПИН

БЕС В РЕБРО

РАССКАЗ

Третий день падал мокрый снег и беспросветной тоской веяло от голых жалобно поскрипывающих деревьев, от черных съежившихся изб и безнадежно раскисшей дороги. По окну одна за другой катили наперегонки торопливые слезинки. За снежной заметью, сперва накатываясь, потом затихая, прогромыхал состав. Вот так: мимо большой станции—на полной скорости. А давно ли еще дальнего следования поезда стояли здесь по двадцать минут, и фланировала по оживленному перрону разномастная и разношерстная публика — пассажиры? Все ушло, быльем поросло. Электровозы не останавливаются, летят мимо, станция захирела, и поселок при ней остался не у дел. Ни город, ни деревня, так... станция. Станция, возле которой не останавливаются поезда.

Михаил Фомич вздохнул и чужим, настывшим взглядом окинул свое жилье. Тоже... станция. Стопки непроверенных тетрадей на столе, на подоконнике, по стульям. Гора вот уже неделю немытой посуды. Сор, наспех заметенный в угол, у печи. Что же, понятно: осень, слякоть, усталость. К тому же давненько не было писем от сына, получившего назначение в Свердловск. За два года парень зарекомендовал себя дельным инженером, женился, получил квартиру и вот-вот должен стать папой. Собственно, это и тревожило Михаила Фомича больше всего; что там с невесткой, почему молчат?

На улице быстро темнело. Он бросил тщетные попытки пересилить себя и чем-нибудь заняться — самое лучшее, конечно, тетрадями бы, — задернул занавески и прямо в ботинках прилег на диван. Скверная холостяцкая привычка, когда была жива жена, ему и в голову не пришло бы такое. Но давно уже зарос буйной травой холмик на тихом кладбище за речкой Ракитихой. Да и не до пустяков, не до приличий сейчас, когда все его существо точно паутиной оплело. Что там тетради, за которые браться страшно,— супишко нет сил сварганить, рубашки состирнуть, даже побриться. «Чего ж ты хочешь, — с насмешкой, чуть ли не с издевкой сказал себе Михаил Фомич, — не все козлом скакать по жизни, пора и утихомириться. Старость на пороге, привыкай мало-помалу. И не дивись: откуда усталость, откуда апатия, откуда боль в груди».

Все-таки он пересилил себя, поднялся, зажег свет. В комнате было сыро, промозгло, жилым духом и не пахло — но за дровами пришлось бы топать через весь темный и слякотный двор. Бр-р-р! А без плиты за посуду браться не дело, много ли при таком накале на плитке нагреешь? Нет уж, лучше не сопротивляться, не растрачивать попусту силушку. Он поставил чайник, накинул на плечи овчинную кацавейку и мимоходом глянул в зеркало. Боже мой, сивый весь, залысины светятся, рот перекосило, обезьянья щетина на щеках — старик... Укатали сивку крутые горки.

И тут несмело стукнул кто-то. Для почтальона поздно, разве что телег-

рамма. Соседи-знакомые не стучат — ногой колотят. Кто бы это? Он распахнул дверь и в удивлении отступил несколько шагов. Перед ним стояла высокая статная женщина, хорошенькая и совсем юная, и смущенно улыбалась. На волосах, на ресницах, на ворсе воротника вспыхивали бисеринки только что растаявшего снега. Знакомое лицо — но кто?

— Не узнаете, Михаил Фомич?— спросила задорно и певуче, так что сердце дрогнуло, вроде бы вспоминая что-то. — А ведь всего пять лет назад...

Тут он и ахнул:

— Дина! Андреичева! И такая красавица! Вот это сюрприз! В отпуск к нам или как?

— Ох, Михаил Фомич, — знакомо всплеснула она руками, и пышными волосами тряхнула, и голову задорно вскинула. — И в отпуск, и не в отпуск, одним словом не скажешь. Приехала вот к своим, на сестру, на отца посмотреть...

Он обрадовался ей, так обрадовался, будто ее только и ждал, и засуетился, заметался, с горечью сознавая, что не в лучшем виде предстал перед гостьей, да и дом не в лучшем состоянии.

— Ты садись, Диночка, проходи и садись, а раздеваться не советую, сыро у меня, нетоплено, запустил хозяйство. Одолели тетради, вон, глянь, сколько их скопилось на мою душу. — А тем временем тронул чайник, уже теплый, и мысленно обшарил холодильник. — Уж так я тебе, Диночка, рад! Самый любимый класс были вы у меня. Значит, замужем? А может, и внука отцу привезла?

— Внучку, — счастливо рассмеялась она, и он обратил внимание на ее высокую шею, такую хрупкую и грациозную, что дыхание стеснило, как на краю пропасти. — Майку. Она уже большая у меня, три года стукнуло.

— Три года! Когда ж ты успела?

— Да вот так. Немножко поспешила, Михаил Фомич. Прежде выскочила, потом думать начала.

Глаза ее померкли, голос угас. И он все понял, Михаил Фомич привык с полуслова понимать своих учеников.

— Не знаю, как и быть с тобой, Диночка.— Он достал из холодильника графинчик с настойкой на апельсиновых корочках, вмиг запотевший в его руках. — Можно или нельзя? То ли ты все еще ученица моя, то ли взрослый самостоятельный человек.

У нее всегда-то смех недалеко лежал.

— А вы все такой же, Михаил Фомич, вслух рассуждаете! «Что же ей поставить? На пятерку вроде не тянет, а четверку маловато. Знания твердые, разве что блеска, артистизма недостает...» Не так разве?

Было похоже. Он скупо улыбнулся и, водрузив греховный сосуд на место, захлопнул дверцу.

— Нет, нет, не нужно, ни к чему... Лучше я тебя целебным чайком угощу, на семи травах настоянном. Там и земляника, и смородина лесная, и шиповник, и душица... Да что это я, соловья баснями! А давай-ка с тобой, Диночка, печку затопим. Непорядок это — в холоде такую желанную гостью принимать. Я мигом.

Печь занялась разом. Он тут же, на бегу залил кипятком семь чудодейственных травок в пузатом фарфоровом чайнике, нахлобучил на него в широкой цветастой юбке матрешку, моментально сооорудил фирменную свою яишенку с луком, разрезал на тарелке пару огурчиков собственного, с хренком, посола и сала тоненько напластал. Все это в его руках привычного к хозяйству холостяка заняло минут пятнадцать, не больше.

Над чашками взвился, закудрявился ароматный парок.

— Вот это, пожалуй, более подходящий для нас напиток, для старого да малого, — усмехнулся Михаил Фомич. — Ну, Диночка, за тебя, за твой приезд на родную землю. И за дочку твою. И чтоб все у тебя хорошо было!

— А я хочу вам здоровья пожелать, и успехов, и счастья! — тут она осеклась, испуганно уставилась на сор у печки, на немытую посуду — видно, вспомнила, что не к месту завела про счастье речь. Но быстро нашлась, отхлебнула чайку и от души восторгнулась: — Ой, вкуснятина! Умеете же вы, Михаил Фомич, из всего делать праздник!

— Стараюсь, Диночка.

В комнате стало теплее, уютнее. Дина сбросила пальто и одернула мягкий свитер белой шерсти, в котором выгля-

дела еще краше и симпатичнее, тем более. после второй чашки щеки ее заполыхали и в глазах весело заблестело. «Э, да ты не просто хорошенькая, — с гордостью даже, как собственное произведение, оценил Михаил Фомич. — Обворожительная! С такой ухо держи востро!»

Постепенно, позабыв о чайнике и о печи, разговорились они, и Дина поведала учителю грустную историю неудачного своего замужества.

— Он же ничто, полное ничто, понимаете! Тренированное животное. Книжку в руках не держал! Ни единого интереса, хоть бы спичечные коробки коллекционировал! Потребитель, беспардонный потребитель. С утра до ночи только и слышишь: давай, давай, давай! Знаете, Михаил Фомич, давно я вам собиралась написать одну мысль, да постеснялась навяливаться. Все ведь наши девочки несчастливы в замужестве, многие уж развелись. Вы научили нас мыслить и чувствовать — вот в чем наша беда. А где же мыслящая женщина найдет себе пару? Что, не так разве?

— Ну, едва ли чуткое сердце и развитый ум могут помешать семейной жизни, — усмехнулся он, однако впервые кольнуло смутное сомнение: а что, как она права, не перебирает ли он с форсированным развитием личности, с этим своим эмоциональным воспитанием, чем покуда только гордился?

— Вот и хотела посоветоваться с вами: может, я не права? Может, черт с ним, плюнуть на гордость, на чувства, жить как придется? Где же гарантия, что другой-то будет лучше? Если только будет...

И тут он едва не покривил душой. Хотел было сказать что-нибудь вроде: «Худой мир лучше доброй ссоры» или «Стерпится — слюбится», но язык не повернулся произнести подобную благоглупость.

— Что ж тут посоветуешь, Диночка? Да ты и не нуждаешься ни в каких советах, все уже решила. Если сердце подсказало, значит, правильное решение.

А сам твердил про себя с отчаянной безнадежностью: «Где ж ты раньше-то была, хотя бы еще десять лет назад, чтобы другой твой оказался лучше? Где ж ты была?!»

И вдруг, сам того не ожидаючи, рассказал ей о сыне, которому жизнь посвятил после смерти жены, и о тревоге по поводу предстоящих родов невестки, и об одиночестве своем осточертевшем, и о подступающей старости. Достал альбом, вместе они принялись его листать, вороша карточки и воспоминания, перебивая друг друга, точно ровесники, пока не наткнулись на пожелтевшую уже фотографию: он, еще молодой, сидит на лавочке посреди четы Андреичевых, Гриши и Нюты, Нюта еще жива была, а на коленях у него примостилась Динка Андреичева, стриженая, длинноногая, и ручонками шею его обхватила. И что уж тут нашло на нее — разревелась Дина, расхлюпалась, уткнувшись ему в плечо, может, из-за того, что двадцать лет как миг пролетели, теперь уж у нее дочка такая, а может, еще из-за чего, и Михаил Фомич тоже втайне от нее обронил слезу, и сразу на сердце полегчало, будто бы только она, единая та слеза, и давила на него все эти ненастные дни.

Тут же Дина и засобиралась, вспомнив о дочке, обещала еще забежать до отъезда, Майку свою показать, и Михаил Фомич пошел ее проводить. На улице порошил праздничный снежок, веселый, искристый, и Дина, дурачась, ловила его ртом. Всего-то шесть изб до Андреичевых, а все ж таки успела она и кое-что важное сказать:

— Ой, спасибо, Михаил Фомич, отогрелась я с вами, а то уж... И вообще, спасибо — за то, что вы были в моей жизни. Были и есть... — И не спрашиваясь, поцеловала в колючую щеку, но не торопливым девчоночьим поцелуем, а теплым и основательным женским.

Придя домой, он в раздумье потер ладонью эту щеку, подумал: вот они, всесильные женские чары, — правда ведь, за какие-то три часа исцелила, душу оживила. И, засучив рукава, единым махом перемыл всю посуду и потом еще до половины третьего сидел над тетрадями.

* * *

Назавтра был понедельник, тяжелый день, Михаил Фомич отвел две смены, и когда вечером без ног вернулся домой, едва его кондрат не хватил: все в ком-

нате блестело, все было выхлопано, вычищено, перетерто и перемыто, и на столе, склонив головы, красовались в вазочке с отбитой ручкой поздние осенние астры. Белые, как свитер Дины, и алые, как ее щеки.

Ах, как давно это было, а ведь было! Сколько раз приходил он и вот так же застывал в недоумении: кто же это у него блеск-то навел? Ну, правда, ключ он не прятал, ключ здесь же в коридоре висел, на вешалке, под старым брезентовым плащом, но кто — так ни разу и не дознался, молчали девчонки, только переглядывались да хихикали. Вон оно что, оказывается...

Он разулся, в носках прошел к дивану — и вдруг уловил тонкое мимолетное веянье духов: точно цветущим весенним лугом пахнуло. Сердце его забилось торопливо, властно, молодо — захотелось, чтобы она была здесь. Захотелось до крайности, до нетерпения, до сладостной и безнадежной боли на донышке души.

— Ого! — сказал он насмешливо. — Да ты уж не того ли, Фомич? Не влюблен ли? Ничего себе, хватился! Седина в голову, а бес... Кончай, — приказал он себе. — Распустился. Ни к чему доброму это не приведет, так что кончай.

Он привык в строгих ежовых рукавицах держать себя, иначе как справился бы с долей, выпавшей ему после смерти жены? «Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик», — как пелось в послевоенной частушке. Однако же поставил на ноги сына, в люди вывел — и ни на час не позволил себе в школе расслабиться, потому, как учитель — не таблица умножения, не образ Чичикова, учитель — это постоянная пожизненная самоотдача, и тут уж никого не обманешь: либо ты вкладываешь в них душу, либо вакуум, тобой оставленный, заполняет улица. Пришлось ему в этой тяжкой борьбе с самим собою и за самого себя от многого отказаться. Ну, прежде всего, от новой женитьбы — не хотелось чужую женщину мальчишке навязывать, трудно пережил потерю матери, уж большенький был. А женщины тогда вовсю на него поглядывали, да что там — льнули, и хорошие среди них были одна-две, надежные. Когда же отправил парня в институт, как на грех ни единой не встретилось, чтобы взгляд остановить, а может, сам сдал, все-таки годы бегут, да и привыкли все, что-де Фомич — закоренелый холостяк. И он решил: баста, проехали, зачем это теперь, вон у него любовь на всю жизнь — школа, а с хозяйством, слава богу, управляется.

Правда, был тут эпизод, большого следа в жизни не оставивший. Имел место. Приехала к ним из города одна молоденькая учительница, бездетная и вроде безмужняя, Варвара Павловна, и взяли ее, а жить устроили покуда в «чулане», крохотной комнатенке в одном с Фомичом коридоре. Славная была женщина, мягкая и добрая, только вот никаких чувств, кроме сострадания, у Михаила Фомича не вызывала. И как-то так вышло — зачастила по вечерам к соседу, то вареньем угощала, то урок помоги придумать, то книги какой-то нет ли, то еще что, пока однажды не осталась до утра. Чем бы кончилось это добрососедство, неведомо, только месяца через два объявился муж. Оказалось, алкоголик запущенный, ни на что не годный и трясучий. От него-то Варенька и сбежала. Ну, пожил с недельку, пил: благо хоть не буянил, а потом как-то удалось ей спровадить его обратно к матери. Спровадила — и к Фомичу, мол, душу всю вымотал, едва избавилась. Однако на сей раз Михаил Фомич проявил твердость: «Нет, милая, хватит, был бы нормальный человек, стоило бы еще подумать, а этому я дорожку перебежать не могу».— «Так жалкое же существо, вовсе он и не мужик!» — «Вот и жалей, коли жалкое, выходит, жребий твой таков». — «Жалеть! А жить когда?» — «Жить, Варвара Павловна, значит — для других, а ежели только для себя — небо коптить». — «Гонишь? Так-так-так... Что ж, попробую еще потащить свой крест». — «Крест, милая моя, до конца несут и не помышляют уронить. Иначе какой же это крест?» — «Дай тебе бог не растерять своей веры, Михаил Фомич!» — «А это не вера — убеждение!»

Вот тебе и убеждение! С той поры минуло немало лет, и теперь ему сорок шесть, а Диночке двадцать три, как раз половинка. Он женат был, когда она родилась на свет, Гриши Андреичева, одногодка и давнего дружка дочка.

Ах ты, голенастая пигалица! Как же могло случиться такое? Только ею и жил он все эти дни, чистоту в доме соблюдал, постирал, галстуки и рубашки отутюжил, тщательно брился каждое утро — ждал. Обещала же зайти перед отъездом. На что он надеялся, и сам не мог бы ответить. Не на что было надеяться, но сердце, сердце ничего такого в расчет принимать не желало. И он уже так и этак корил его и высмеивал, снова и снова пытаясь ухватить себя в рукавицы, да не получалось.

Раз на исходе дня колотил он дровишки во дворе, глядь — прошмыгнули огородами к едва замерзшей Ракитихе две фигурки, большая и маленькая. Он и внимания не обратил поначалу, уложил поленницу, лишь тогда его кольнуло: она же с дочкой! А лед хрупкий, слабенький, снегом едва припорошен, далеко ли до беды. Бросил он топор — и напрямки, через заборы, ринулся к реке. И лишь за островом, на полированном зеркале старицы, нашел их, как две зверушки барахтающихся на льду, — девчачий восторженный визг выдал. Незамеченный, он подкрался почти вплотную, и вдруг Дина вскочила и, оставив девочку, бросилась к нему, крыльями раскинула руки, но не повисла на шее, нет, лишь мгновенно прильнула к плечу, зарделась и глаза потупила.

Долго потом, стоило смежить веки, видел он перед собою эту счастливую картину: кумачом полыхающее закатное небо, сочный апельсиновый снег окрест, синь льда, акварельная голубизна недалекого березника, теплые сизые дымки за островом и она в упавшем на затылок платке летит навстречу.

— Знакомьтесь, Михаил Фомич, единственная моя радость в жизни.

Он подхватил Майку на руки и высоко подкинул, как своего когда-то. Зашлось дыхание у девчушки, а приземлилась, отдышалась — потребовала: еще, еще... И уж не отпускала больше Михаила Фомича, намертво вцепилась, да к нему и всегда ребятишки привязывались с первого взгляда. Он и катал ее по льду, ухватившуюся за прут, и карусель устроил, сам усевшись на лед, и в мячик ею перекидывался с Диной, и возил их на березке-волокуше, кинув поверх клок сена, — обе были в восторге, у обеих глазенки блестели и щеки полыхали жаром. А когда отправились назад и он взял притомившуюся Майку на руки, Дина, сначала скромненько, а после открыто, едва ли не демонстративно подхватила его под руку, потому что поскользнуться было дважды два.

У станции наткнулись они на ледяную горку, что по крутому бережку от клуба аж до середины реки раскатывала немногих в этот час ребятишек. И они рискнули. Михаил Фомич взял Майку на колени и осторожненько присел на верх катушки. Ух и понесло их — порожний состав гулко грохотал над головой, ветер свистел в ушах, ребятишки горланили, тявкали собаки — все слилось в единый ликующий звук. Ох, понесло — со слезой на ресницах, с морозным пощипыванием щек! А потом, на излете, мягко опрокинуло в сугроб, и тут же из стремительного снежного вихря вынырнуло смеющееся лицо Дины, и он как мяч поймал это лицо и поцеловал в холодные распахнутые губы. В полумраке мелькнули ее округлившиеся глаза, но ничего не сказала Дина, лишь коснулась щеки рукой, то ли несмело погладила, то ли вежливо шлепнула, так он и не разобрался.

Всю остальную дорогу они молчали. Майку на руках Фомича мигом сморило, и пришлось ему нести ее до самого дома Андреичевых. Мог ли он подумать, что в таком веселеньком виде встретит их у калитки Гриша? Дочка на руках, мама под руку, и оба они с Диной растрепанные, укатавшиеся, с ног до головы в снегу.

— Вот, внучку твою с горки помог доставить, — зачем-то сообщил он Андреичеву.

Гриша ничего не ответил, лишь головой с сомнением покачал.

Когда Фомич глянул на часы, было уже почти девять, — больше четырех часов прогуляли на реке. Лишь теперь он ужаснулся, увидев себя глазами давнего друга. Себя и Дину.

* * *

День ото дня прочнее складывалось у него впечатление какой-то сумасшедшей, полуреальной праздничности мира,

беспечности, бесшабашности, легкой взвинченности, будто все человечество, и он сам тоже, пребывало слегка навеселе. Себя он ощущал ничем не связанным, бесплотным, невесомым, способным ходить по воде и на небольшие расстояния летать, разогнавшись, по воздуху. Все окружающее было зыбко, призрачно, — но ему и не требовалось никакой тверди, потому, что единственным непреложным фактом, единственной опорой мира стала она, Дина.

Это-то наваждение он и решил пресечь, устыдившись под пристальным взглядом Гриши собственного легкомыслия. Вот старая перечница, музейный экспонат! — с поцелуями к девчонке полез! Рассиропился, сивый мерин! К мужу вернуться отсоветовал! Оно, конечно, парень, похоже, пустоват, но где набрать умников на всех? А скорее, просто зелен еще, чтоб оценить женщину. Тем более, такую.

И он, промучавшись ночь в укорах и терзаниях, строжайше поставил распрощаться с Диной, со всеми сумасбродными грезами и умыслами, пока есть еще возможность. И предстоящий ее визит с дочкой постановил считать прощальным.

А коли так, следовало попрощаться основательно, и он лучших конфет купил в буфете на станции и блинов напек, и какао сварил на молоке. А кроме того, кое-что отыскал среди залежей старых бумаг, на что приятно было бы взглянуть Дине: тетрадку с отличным ее сочинением за десятый класс, несколько теплых и нестандартных открыток, которые она ему посылала из города первое время, и большую фотографию — сцену из спектакля их школьного театра, где играла она в «Горе от ума» Софью, а Чацкого — бравый парень Ленька Жарков, красавец и сердцеед.

Как и договаривались накануне, встретил он Дину с Майкой еще засветло на реке, и прежде погуляли вдоволь, потом уж сели угощаться блинами и всем тем, что наготовил Фомич к блинам. На этот раз Дина выглядела задумчивой, похудевшей, большеглазой, и как-то вроде присмирела по сравнению с первым визитом, отметил Фомич.

— А знаете, где я была сегодня? — спросила вдруг Дина, одернув расшалившуюся Майку.— Ни за что не угадаете! На кладбище. Маме поклонилась и всем нашим общим предкам. Отцам и дедам...

Она вопрошающе уставилась на Михаила Фомича, словно допрашивая: помните? помните, чьи это слова? да неужто забыли? Что-то шевельнулось у него в пластах прошлого, что-то похожее, да «наши общие предки», да «отцы и деды», но как и у всякого учителя, много у него отложилось разного, что, вероятно, на всю жизнь врезалось в память учеников, а вот у него затерялось, затянулось илом последующих лет.

— Помните, в пятом классе, когда вы к нам только пришли... в первые же дни, осенью... вместо классного часа повели нас на кладбище? Неужели забыли? Мы ведь именно тогда все поголовно в вас повлюблялись! Вы нас, можно сказать, за душу взяли. Не так разве?

Да, было, было. Он припомнил сумрак старого поселкового кладбища, навсегда ставшего его болью. Порушенный забор. Затянувшиеся травою могилки. Скосившиеся памятники, погнившие кресты. И большие глаза притихших детишек, впервые приобщившихся к живой истории страны, к корням своим, уходящим здесь в землю. Именно за этот поход на кладбище получил он тогда нагоняй. Да как он смел вместо воспитательной беседы на темы патриотизма и любви к Родине демонстрировать пятиклашкам разрушительный хаос смерти?!

— Помню, Дина, все помню. Кушай, Маечка, не стесняйся! Да ты уж никак носом клюешь? Разморило девку после свежего-то воздуха. Да кушай же хоть ты, Дина, чего задумалась?

— О том и задумалась, как много вы в нашей жизни значили. Попади мы к кому другому... ведь совсем другими выросли бы. Пустыми и самодовольными. Или только кажется?

— Почему же, так оно и есть. Учитель — души ваятель, и ежели ничего не изваял, грош ему цена.

Дина, вопреки его ожиданиям, равнодушно отложила фотографии и даже не взглянула на открытки, зато сочинением заинтересовалась: любопытно, что же это писала тогда самонадеянная девчонка Динка Андреичева? Давно уже сопела в

уголке дивана наигравшаяся Майка, а они все вспоминали свой класс, и школу, и ребят — кто с кем дружил, с кем ссорился, и драмкружок, и как парк садили, и как сено стоговали в колхозе, и как в многодневный поход с палатками ходили. И опять эти воспоминания ввергли Дину в элегическое настроение, и опять закончилось слезами, правда, на этот раз тихими, легкими...

Михаил Фомич преподавал у них литературу, был классным руководителем, и многие свои идеи об активном эмоциональном воспитании воплотил именно в этом классе. Как поэту вдохновение является в процессе работы, так и ему пришел этот класс — дружный, талантливый, податливый на все доброе, где едва ли не каждый был личностью. Порою, ближе к выпуску, он и сам дивился: да неужто все это он сотворил? Или, может быть, просто класс такой подобрался? И в раздумье, в сомнении послал выдержки из дневников этих шести лет в областной город — в редакцию и пединститут. Оба ответа содержали единую оценку: выдающийся эксперимент. Ему предложили написать книгу, взяться за диссертацию — ни к чему это не привело. Правда, статья об его опыте появилась в газете, но вызвала как раз обратный результат: комиссию облоно и всяческие неприятности.

Видно, не тот у него был характер. Ничего не получилось из жизни: только школа, только дети. Учил, воспитывал, справедливость и настойчивость прививал, в драки за детей встревал, за их право иметь свое мнение, спорить с учителями, ездить по району, сомневаться, грустить, ссориться и влюбляться — чувствовать. И добился-таки кой-чего. Уже в старших классах относились его дети к учебе, да и к самой жизни сознательно, продуманно. Все в люди вышли, встретили свое призвание. И вот, как выясняется, несчастливы оказались в браке его ученицы, многие уже разойтись успели. Тоже итог эмоционального воспитания, пусть и непредвиденный, побочный. Значит, что-то сделал не так, упустил прививку от какого-то микроба...

А был у них и театр, и клуб «Турист», и краеведческая экспедиция по району «Наши общие предки», и агитбригада с сатирическими куплетами и танцевальным ансамблем, и чего только не было — все те же восемнадцать девчонок и двенадцать ребят. И всюду Дина Андреичева верховодила, во все дела душу вложить умела, и все давалось ей легко, с улыбкой, с шуточкой, словно не жила — порхала над жизнью. И учиться успевала хорошо, хотя, как считал Гриша Андреичев, если б Фомич не дурил ребятам головы, на медаль вытянула бы.

Для него эти шесть лет как единый счастливый миг промелькнули. Вроде бы слился он с их детским коллективом, вторую юность обрел. Ребята, хоть и уважали и преклонялись перед ним, почитали за ровню и за глаза звали, он это знал, «наш Фомич». Секреты ему поверяли, радостями и заботами делились, дни рождения и праздники непременно все вместе справляли. Как забыть новогоднюю елку на острове — с костром, со светом мотоциклетных фар, с двенадцатью бородатыми Дедами Морозами и танцами в снегу! Времени все это у него отнимало — вспомнить страшно, по три-четыре часа на сон оставалось, но молод был, вытянул. Да и то, коли нашло такое вдохновение — все получалось! — не бросать же на полдороге. И он сам себя уговаривал: ничего, Фомич, потерпи, летом отоспишься. А когда скапливалась гора тетрадей пятого и шестого классов, объявлял аврал, затачивал три десятка огрызков красных карандашей и усаживал за диктанты своих любимцев, — ничего, справлялись.

Всех он равно ценил и равно любил, но Дина Андреичева и тогда, помнится, была у него на особом счету. Тоненькая, глазастая, голосистая. Чуть не по ее, ножкой топать не стеснялась: «Что, разве не так? Скажите, что не так!» Не красавица, но явная и признанная прима во всем, и уже тогда мальчишки наперебой напрашивались с нею дружить. Но и к мальчишкам относилась она легко, как ко всему на свете: на каток бегала с одним, в кино с другим, танцевать любила с третьим, потому, наверное, и не было у нее кого-то одного.

И вдруг в десятом как-то резко, враз округлилась Дина, похорошела невообразимо, какую-то замысловатую причес-

ку соорудила, лукавая улыбочка появилась на губах, голос заворковал, глаза призывно и дерзко заблестели — и завздыхали по ней парни, всерьез и горько завздыхали. А Михаил Фомич любовался ею как дочкой: вон какая у нас с Гришей девочка растет...

Гриша был строг с нею, и она уж и прежде привыкла козырять, что-де с Фомичом отправляется туда-то: в поход с палатками, в поездку по району. Знала: Фомичу отец доверяет как себе. И когда нашла на нее эта девичья страсть шататься по танцулькам, гульбищам да вечеринкам, не раз лукавила Дина перед отцом, дескать, о чем речь, там же с нами Фомич будет. Гриша, бывало, зондировал, так ли оно, и Фомич, хоть и дивился дерзкой смелости Дины, ни разу любимицу свою не выдал. Может быть, напрасно, бог их знает, чем у них кончались эти танцульки-провожания, наверняка уж не рукопожатиями. И однажды наглядный получил урок, что преждевременно давал им волюшку, понапрасну форсировал раннее развитие чувств.

Ездили они давать концерт в соседнее село Еловку. Сначала представили большое сатирическое обозрение с пантомимой, баснями и частушками под баян, а после — костюмированную танцевальную сюиту. И поскольку артистов было в обрез, каждый, кто заканчивал свой номер в обозрении, сломя голову бежал переодеваться, чтобы первым выйти в сюите. И вот уже подходил к концу последний сатирический номер, и массовая сцена должна была перейти в лирическое начало танца, которое заводила Дина.

Фомич нервно прохаживался за сценой: ее все не было, хотя убежала переодеваться минут десять назад. Грохнули аплодисменты — значит, ей уже положено стоять у кулисы, готовой к выходу, а она перед зеркалом прическу доводит до совершенства! Разъяренный, Фомич дернул дверь в комнату, где готовились девчонки. И замер на пороге. Дину, все еще не одетую, без юбки, целовал Ленька Жарок, и тонкие ее руки ветвями обвили и оплели Ленькину лохматую голову. Михаил Фомич бесшумно прикрыл дверь, через несколько секунд крикнул негромко: «Андреичева, где ты там пропадаешь, выход!» — и она выплыла из комнаты как ни в чем не бывало, ни капли смущения ни на лице, ни в глазах. Несколько дней потом ходил он в смурном настроении, хотя с чего бы? Пожалуй, этим и огорчился больше всего: ни тени смущения!

Тогда-то и разглядел в ней Фомич хорошенькую соблазнительную девушку, которая если не выйдет вскорости замуж — беда...

Естественно, сейчас он ни слова не сказал ей про тот концерт и про Жарка, зато без устали повторял, какая она была славная девчонка, активная, честная, чуткая, и как все ее любили, и девочки, и ребята, и он тоже любил и гордился ею.

— А мы... мы любили вас... и любим! Вы для нас были идеалом человека. И мужчины. Вот с кем все наши девчонки сравнивали своих мужей — с вами! Конечно, не выдержали сравнения мужья. Что, разве не так?

В одиннадцать он проводил маму с дочкой домой и, кажется, вполне держал себя в руках: ни о каких чувствах ни слова, ни звука не было сказано, и проститься сумел довольно холодно:

— Ну, Диночка, прощай, желаю тебе успехов во всем, и в учебе, и в личной жизни, а приедешь — заглядывай.

На этом, кажется, и закончилось его безрассудное увлечение, сумел Фомич вовремя поставить точку, за что больше зауважал себя, хотя на душе было пусто и тоскливо, как в избе с заколоченными окнами. Может, забеги к нему Дина еще раз, и развернулись бы события совсем в другую сторону. Но Дина не заходила, точно забыла о нем. Два-три раза он видел ее издали или из окна, однако она и не взглянула в его сторону, и все мучительные вопросы сами собою отпали. А тут телеграмма радостная пришла, что стал он дедом и что внука в его честь нарекли Мишей. Потом в город была командировка, научная конференция по эстетическому воспитанию, где ему пришлось выступить. Потом у директора школы нагрянула серебряная свадьба, надо было и программу продумать, и подарок от коллектива приискать. Словом, только краешком сердца помнил

он в эти дни о Дине Андреичевой, честно говоря, и подумать-то некогда было, не то что заглянуть, узнать, как у нее дела, почему до сих пор не уехала.

И вот, возвращаясь уже за полночь с этой серебряной свадьбы, прямо посреди улицы наткнулся он на парочку Дина Андреичева — Ленька Жарок. И Диночка поздоровалась с ним без тени смущения, будто так и следовало, будто с законным мужем среди ночи под руку домой ворочалась.

Ах, если бы это был не Жарок, кто-то другой... Мало того, что тогда в клубе именно Жарок ее целовал — был Ленька красив, вкрадчив, на девок удачлив, работал киномехаником в клубе, фильмы крутил и, по слухам, с девками любовь крутил, за что бывал бит неоднократно. И так это Фомича расстроило, что уже побежденное было чувство вновь полыхнуло в нем с прежней силой.

Дома он упал, не раздеваясь, в постель. Вот оно как все обернулось, лучше поздно, чем никогда узнать правду. Хорош бы он был сейчас со своими притязаниями! Понял наконец-то что к чему! Дина же к нему просто человеческую благодарность испытывала, никакая любовь и в голову ей прийти не могла — к старику-то! Он же для нее старик, безнадежный старик! А может, и того хуже, лишь для отвода глаз к нему заходила, а сама уж давно с Жарком по сеновалам шастает. По старой памяти. Чего ж тут удивительного, дело молодое...

Только под утро переломил-таки Фомич свою плачущую душу, убедил ее забыть про Дину, навеки забыть и никогда больше не вспоминать.

* * *

Назавтра было воскресенье, и у магазина лицо в лицо столкнулся он с Гришей Андреичевым. Поздоровались.

— Да вот, перекурить решил, пока Динка покупки покупает. Слушай, Фомич, ты на нее влияние имеешь, подскажи, пущай возвращается в город. Мы-то, конечно, рады, только сам посуди, чего тут торчать? Какая у нас жизнь, какие женихи? Так, одно баловство. А там, может, и по-новой сложится.

Открыл было рот Михаил Фомич, чтобы возразить: и тут жизнь не последняя, и тут на работу устроиться можно, а учиться заочно, да не успел — сбежали с крылечка Дина с Майкой. У Дины руки с избытком заняты были покупками, и покуда помогал ей Гриша по сумкам пакеты рассовывать, Майка, непоседа, куда-то и утопала. Оглянуться не успели — бежит обратно в слезах, рот немо раскрыт, в испуге зашлась, а за нею большая черная собака и, видно, играючи за шубку цапает. Подскочил к девчушке Михаил Фомич, отогнал пса, а Майка — ему на шею, и криком на всю округу:

— Папа, папочка!

При родном-то деде!

Дина зарделась, но глаза не опустила, а Гриша насупился, зыркнул фертом, однако сказать ничего не сказал, смолчал. Видно, дома положил разразиться грозе. И Диночка, все это предгрозовое состояние вполне чувствуя, отважно глянула на Фомича и прямо при отце заявила:

— Ехать надо завтра, Михаил Фомич, возвращаться, гонит отец. Так что ждите вечерком, попрощаться зайду.

— Всегда рад тебе, Диночка, — смущенно пробормотал Фомич.

И сам не знал, что думать: то ли Гриша ее шашни с Жарком засек и потому отправляет, то ли ухажерству учителя противится. Но так или иначе, всему наступал конец, и хоть горевала его душа, и металась от боли и безысходности, и ныла, а исподволь все ж таки успокаиваться начала. Потому как, известно, на нет и суда нет.

Но Диночка вечером пришла оживленная, какая-то отчаянная, басшабашная, решительная, словно на экзамен заявилась в полной уверенности, что пятерка ей обеспечена, а все же тайком волнуясь и переживая. Опять они мило болтали за чаем, вспоминали прошлое, разные смешные случаи из жизни класса, и Диночка хохотала, хохотала, немножко излишне нервно и взвинченно, но в общем вполне беззаботно. Михаил Фомич клял себя, что даже напоследок, на прощанье, никак не может сказать ей те важные и решительные слова, которые мужчина обязан сказать любимой, даже если никогда больше ее не увидит. Слова были готовы, придуманы и продуманы, но он же строжайшее постановле-

ние принял на сей счет! И вместо этого, важного, спросилось вдруг про Жарка, вроде бы в шутку спросилось, без значения, но кто знает, как услышалось.

— Что, Леня-то Жарков еще не посватался к тебе?

Дина тревожно и пытливо глянула на Фомича.

— Нет, не посватался. Но почву зондировал, балабол станционный. Ему от меня немного надо... — Она остро и горько усмехнулась. — Это мы классом собирались, Михаил Фомич. Остатками класса. Девять человек. Кофе выпили, вас вспомнили и поплакали. Кое-кто. Хорошее было времечко — юность... Потом этот балабол провожать навязался. А вы на празднике у директора школы были?

— Поздравили супругов. Хороший он мужик, Диночка, на нем вся школа держится. Деловой, добрый и, что, может быть, еще важнее, смелый.

— Смелый? И мне понравился. Сейчас только от него. Завтра на работу выхожу — старшей пионервожатой.

— Как... на работу? Ты же едешь!

Дина вскочила, нервно и торопливо прошлась по комнате, от двери к окну — высокая, тоненькая, с гордо посаженной головой, но уже не девочка, нет, женщина, знающая себе цену и самостоятельная.

— Никуда я не еду! И что вы все меня гоните? Добро бы отец, а то и сестра тоже. — Она заломила кисти рук и, по-девчоночьи вывернутые, прижала к груди. — Что мне там делать, с чужими людьми? А здесь я дома...

Она точно задохнулась от этих слов, но он ее мгновенному задыху значения не придал, был сбит с толку, озадачен, растерян. С чего это она решилась? С чего, если Жарок — балабол? Эх, кабы он уже сказал или хоть как-то дал понять! И пока он перебирал эти поспешные и горестные мысли, глаза Дины опять блеснули слезами.

— Что ж вы молчите, Михаил Фомич? Скажите же что-нибудь! Скажите, что дома и стены помогают! Что здесь у меня отец, друзья, любимый учитель! Что и здесь можно работать, а учиться заочно... Да никуда я не устроилась, еду завтра, билет вот на автобус взяла...

Она выложила на свет помятый клочок бумаги, и слезы закапали из ее широко и беспомощно распахнутых глаз. Михаил Фомич легонько тронул ее за плечо.

— Послушай, Диночка...

И умолк. Нет, не шли наружу слова, в горле застревали. Да и так ли уж надо их говорить, если завтра она уедет? Душу только бередить девчонке. Да и себе. Все равно ведь: и он решил, и она решила...

— Что же случилось, Диночка?

— То и случилось. Посоветовалась я с сестрой, — голос ее звучал подавленно, обреченно, — как, мол, посмотришь, если останусь, пионерской вожатой работать пойду, на заочное переведусь и комнату у бабки Зиновьихи сниму? А она — отцу, и такого наплела, такого нагородила! В общем, заказано мне здесь жить. Представляете: в чужом городе — и одна? Ни дома, ни родных, ни вас, Михаил Фомич...

Она опять вскочила и прошлась, но на этот раз остановилась перед зеркалом, критически и насмешливо оглядела себя и руки корзинкой опустила на голову. Фомич видел в зеркале ее чистый лоб, изящный овал щеки и пытался понять, видит ли она его.

— Ну и вывеска, смотреть тошно! Знали бы вы, Михаил Фомич... Мне и радость-то была все эти замужние годы — как вас вспомню. Станцию, школу... и вас. Сказать, когда самая счастливая минута в моей жизни была? Я даже в сочинении написала, да постеснялась отдать. Помните, мы в однодневный поход вверх по Ракитихе ходили, к водопаду? Еще дождь моросил весь день, мелкий такой дождичек, самый лучший в жизни. Шли мы, шли — речка на пути, а мосток — скользкое бревнышко. Все уж переправились, я последняя. И вдруг голова закружилась, падать начала... Помните?

— Что-то не припомню, Диночка.

— Эх, вы! Вы нас всех страховали, то есть не всех, девчонок, и меня поймали. И удержали. Честное слово, сердчишко мое в этот момент едва не выпрыгнуло из ребер. А вы даже не заметили ничего...

— Точно, не заметил, — сокрушен-

по признался Фомич, думая смутно: так-то ты знал своих учеников!

— А я по такому бревнышку в любую погоду речку запросто перемахивала. И в жизни у меня голова не кружилась. Разве что от чувств. Вспомнили теперь? — и она лукаво потупилась.

Что это — замаскированное признание? Насмешка? Или маленькая месть норовистой девчонки за его затянувшееся молчание? Он еще крепче взял себя в руки. Немного потерпеть. Теперь уж совсем немного. Час. Он должен заставить себя продержаться час и ни слова не проронить. Потом будет тяжко, будет невыносимо, но она уже уедет. Он должен промолчать, чтобы ради стариковской прихоти не испортить жизнь девчонке, у которой все еще впереди. Не пойти против очевидных истин. Против совести. Но слова сами собой рвались из горла, из груди.

— Дина... Диночка...— сдавленно пробормотал он. И смолк. Торопливо тикали часы, попыхивали в топке поленья, протарахтел мотоцикл за окном.

— Знаю, что вы хотите сказать, Михаил Фомич,— сквозь слезы улыбнулась Дина.— Но знаю тоже, что вы никогда этого не скажете, потому что... потому что... эта разница в возрасте, которая кажется вам пропастью. Непреодолимым препятствием. Не так разве? Вы слишком уж деликатный человек, и вы побоитесь обидеть меня. Лучше отправить с глаз долой, чем вдруг да обидеть словом. Не так?! И ничего вы не скажете, и я уеду. Вернусь в город, устроюсь на работу, после каких-нибудь танцулек не смогу отвязаться от какого-нибудь обалдуя, опять выскочу замуж, опять разведусь... И все. И мы потеряем друг друга. Ну разве не так?

— Так, Диночка, все так. Но ведь и хорошие люди есть на свете, не только обалдуи. А потом — ты молода, раны залечатся. А я... я же старик, одной ногой уже, можно сказать...

— Нет, погодите! — Дина поднялась и встала у стола, как отвечающая на экзамене, и голос зазвучал звонко, напористо.

— Дайте мне сказать... пофантазировать. Я еще сама в себе толком не разобралась, хочу порассуждать вслух... как вы... чтобы уж все до конца понять. Допустим, если бы вы сказали сейчас: «Дина, плюнем на предрассудки, будь моей женой»,— что бы я ответила? — Она перевела дыхание, совсем по-девчоночьи швыркнула носом и попросила вполголоса: — Михаил Фомич, если я что-то не то скажу, обижу вас,— гоните меня в шею, ладно? — И опять голос зазвенел натянуто, струной, и хорошенькая ее головка гордо вскинулась.— Я бы ответила: «Милый мой, дорогой, родной Михаил Фомич, я не смела даже мечтать об этом, это для меня великая честь и осуществление самой сокровенной мечты, я преклоняюсь перед вами и люблю вас с пятого класса, с того самого дня, когда впервые вас увидела, я готова стать вашей женой и, надеюсь, буду хорошей женой». И прижалась бы вот так к вашей груди... и обняла бы вас... вот так... вот так...

— Что ты, Диночка, что ты,— растерянно бормотал он, чувствуя, что пальцы безнадежно запутались в шелковистых ее волосах.— Нельзя же так вдруг, смотри, тебя всю трясет.— Его и самого трясло, и он все плотнее прижимал к груди ее голову и гладил вздрагивающие плечи.— Дина, я не могу воспользоваться твоим сегодняшним положением. Тебе не хочется уезжать, я понимаю. Тебе даже кажется, ты меня полюбила — школьные годы вспомнились. Но это нереально, Диночка. И если бы ты надумала за другого старика, я первый сказал бы тебе: не смей! Почему же в этом случае...

— Вот и они говорят, отец и сестра... если бы за другого старика, вы бы и сами... Но они-то ничего не понимают, какой же вы старик, а вы... вы...

— Это просто невозможно, Диночка. Подумай сама. Что люди-то скажут?

— Ах, люди?! «Княгиня Марья Алексеевна»! Не так разве?

— Диночка, ты еще совсем ребенок...

— Может быть. Может, я ребенок. Но я уже женщина! И я добьюсь своего!

— А я тебе запрещаю даже думать на эту тему!

— Да как вы смеете?! Как вы смеете, если о себе забыли, меня-то лишать счастья? Единственной возможности?

— Господи, и почему ты такая упрямая?

— Вы меня воспитывали, спросите себя.

— Ну, хорошо, хорошо,— он настолько обессилел от этого разговора, точно десятикилометровку на лыжах единым духом отмахал.— Давай так, Дина... Одевайся, я тебя провожу... Подумаем до утра. И будем считать, я сделал предложение, но ты еще не ответила, обещала подумать. Где твой платок? В рукаве?

— О чем еще думать?

— Ты не ребенок, Диночка. Подумай, взвесь, еще раз посоветуйся с отцом...

— Ни за что!

— Пойдем, тебе надо успокоиться, собраться с мыслями.

— Никуда я не пойду! — Она вдруг рассмеялась — со слезами на глазах.— Ну зачем вы мне суете пальто? Я же дома, дома, дома, как ты не понимаешь, милый мой Фомич?! И давай ужинать, я голодная как волк. Что ты прятал там от меня, в холодильнике? А завтра Майку сюда перетащу.

* * *

Прошло две недели, и Гриша Андреичев не случайно встретил в сумерках Фомича возле школы.

— Ну что, бывший друг, потолковать надо бы. Или желания нету? Докуда будешь девке голову дурить! Позабавился — и будя. Стыдись! Нам уж с тобой в дорогу пора, вослед за женами нашими, а ты...

И директор школы, теряясь, разговор завел.

— Как же так, Михаил Фомич, ученицу бывшую вы к себе пустили, слухи нежелательные идут...

— Она жена мне, какие могут быть слухи?

— Но ведь по закону вы не...

— Будет и по закону! На развод она подала, вот-вот получит.

— Ну, смотрите, смотрите, вам видней...

Минуло два месяца. Дину и в самом деле взяли в школу, только не вожатой, в младшие классы учительницей — людей катастрофически не хватало, а у нее все-таки два курса педагогического. Но и теперь никто в поселке не верил, что это надолго, никто не принимал всерьез эти сомнительные и скороспелые узы — да ведь и были на то основания.

До весны хватило поселку судачить на излюбленную тему: связался черт с младенцем. И многие смотрели на Фомича, как на великовозрастного донжуана, греховодника и юбочника. А иные Дину обвиняли, что-де окрутила старика, воспользовалась случаем. В первые-то времена досталось ей, бедняжке: и отца упреки, и с сестрой ссора, и подруг-соседок косые взгляды. Молва тоже не пощадила ее: ну, пошалила красивая, подурила голову старику — и будет. Укатит вот в город, глядишь, через год-другой с новым мужем, с новым дитем заявится к батьке. Или того проще судили: до первого хахаля, а там вильнет хвостом — и поминай как звали. Но даже и те, что знали об истинных чувствах обоих, не верили в прочность этого союза. С природой шутки плохи, так или иначе возьмет свое. Ну, потянет он год-два, от силы пять лет, а дальше что? Бабе ведь мужик нужен — не сторож. И все несколько неудобно, натянуто чувствовали себя с этой парой, точно при обреченном больном. Все-таки сорок шесть и двадцать три — не так-то оно просто. Старик и девочка. И смешновато, и грешновато. И все уверены были, что это ненадолго, на полгодика, на год, хорошо на два...

А их ждало семнадцать лет полной и звонкой жизни вдвоем, семнадцать лет согласия, взаимности и счастья. Они еще сыночка родили и Майку выдали замуж, и успел Михаил Фомич на свадьбе своей любимицы погулять, правда, внучат не дождался. Но и то, мало ли это — семнадцать лет? Иной завидной паре и года совместного житья в мире и ладе не достается, а уж коли пять лет выпадет,— все знакомые дивуются. А здесь и дивились, и сомневались, и восторгались, и завидовали.



Альманах «Сибирь» дважды публиковал статьи (Сибирь. 1984. № 5; 1986. № 6) о поисках могилы венгерского поэта Шандора Петефи в Сибири. Оппоненты в свою очередь организовали контрнаступление в защиту версии, что великий поэт погиб под Шегешваром. И вот венгерский кинорежиссер Андраш Балайти, дважды побывавший в Бурятии, нашел в Военно-историческом архиве в Москве архив Бема, который 140 лет искали по всей Европе венгерские исследователи. В архиве Бема есть и списки военнопленных 1849 года, в числе пленных есть и Александр Петрович (Шандор Петефи). Будапештский журнал «Будапешт» (№ 3, 1988) немедленно опубликовал это известие, а газета «Непсово» поместила за истекший год пять статей журналистки Эдит Кери, которая подключилась к дальнейшим исследованиям.

Предлагаем читателям статью Василия Пагиря, в которой он рассказывает о новейших венгерских подтверждениях «сибирской легенды».

В. Пагиря

ИЗ АРХИВА БЕМА

О том, были ли взяты в плен в 1849 г. венгерские солдаты, сражающиеся за освобождение своей родины от австрийских поработителей, и среди них и поэт-революционер Шандор Петефи,— дискуссия идет давно. Создалось мнение, что 31 июля 1849 г. в решающей битве под Шегешваром Шандор Петефи погиб. Эта официальная версия о его гибели возникла не без помощи австрийских властей, которые в первую очередь были заинтересованы «похоронить» поэта, ведь живой Петефи мог стать знаменем новой революции. Но ни трупа, ни могилы Петефи никто не видел и не может доказать, что поэт действительно погиб при Шегешваре.

Начатая в 1985 г. дискуссия на страницах советской и венгерской печати помогла найти новые материалы о таинственном исчезновении Шандора Петефи после Шегешварской битвы. Исследователи в Венгрии нашли много документов, которые говорят о том, что поэт не погиб под Шегешваром. Но наши оппоненты категорически отрицают такую версию и, не зная документов венгерских и советских исследователей, твердо держатся старой версии, обвиняя исследователей в «воскрешении сибирской легенды», в вымыслах, извращении истории.

Итак, небольшой экскурс в прошлое. Еще в прошлом столетии, конкретно в 1867 г. в майском номере газеты «Гон» (№ 141), писалось, что поэта «как опасную личность угнали на каторгу в сибирские оловянные шахты». В 1877 г. газета «Вашарнапи уйшаг» (№ 24) поместила статью «Венгры в сибирском плену и Петефи», в которой утверждала, что Петефи находится в сибирском плену. Эту версию подхватили газеты «Келет» (№ 125) и «Будапешти напилап» (№ 119).

Тогдашний министр иностранных дел граф Дюла Андраши запланировал экспедицию в Сибирь, но помешало пресловутое «Дело Манашшеша». Некий Янош Папп под фамилией Даниель Манашшеш распространял слухи, что он был в Сибири и там встречался с Петефи. Но расследование до-

казало, что Манашшеш никогда в Сибири не был и все его утверждения — вымысел. Запланированная экспедиция была приостановлена.

В 1909 г. венгерский исследователь Сибири Ленарт Баратоши в составе швейцарской экспедиции Гека побывал в селе Кереш недалеко от Байкала и там ему показали могилу венгерского поэта Александра Петровича. Эта его находка почему-то была напечатана в газете «Аз Эшт» только в 1939 г.

В 1940 г. газета «Мадьяршаг» в нескольких номерах сообщала о том, что венгерский военнопленный первой мировой войны Ференц Швигель обнаружил возле Байкала могилу Шандора Петефи, встретил потомка одного из военнопленных 1849 г. — Йожефа Варгу, который показал ему дневники своего деда Йожефа Варги и поэта Шандора Петефи, с которым его дед вместе прибыл в Баргузин. В дневниках рассказывалось подробно, как они были вывезены после Шегешварской битвы казаками царской армии в Сибирь, как дважды бежали из этапа и как очутились в Баргузине. Швигель привез с собой фотографию могилы Александра Петровича (Шандора Петефи), вырезки из некоторых сибирских газет, в которых рассказывалось, как венгерские военнопленные нашли могилу своего поэта. Эти материалы в 1943 г. Ференц Швигель опубликовал в брошюрке «Памятник Петефи в Сибири».

В 1939 г. в Будапеште появилась книга Йожефа Шандора, где на 160 страницах исследуется проблема возможного сибирского плена Петефи. Причем делает это человек, сам бывший военнопленным в Сибири и причастный к обнаружению могилы поэта в Забайкалье. Этого человека трудно заподозрить в профашистских симпатиях: как нам сообщили венгерские коллеги, Йожеф Шандор был активным участником освободительной борьбы с фашизмом в рядах венгерского Сопротивления.

Один из наших оппонентов Е. Берестовский в статье «Гнилая сенсация» (Литературная Россия. 1987. № 52) утверждает, что Ференц Швигель, мошенник и авантюрист, с помощью подлогов сфабриковал «сибирскую легенду», использованную фашистской газетой «Мадьяршаг», что он никогда в Сибири не был, никаких сибирских газет, на которые ссылается Швигель, нет. «Литературная Россия», разобравшись в «исследованиях» Берестовского, поместила 4 марта 1988 г. опровержение под заглавием «Легенда или быль», в котором А. Тиваненко и З. Демин опровергли измышления Е. Берестовского.

На днях мы получили из Будапешта от Эдит Кери — сотрудницы газеты «Непсово» письмо с возмущением по поводу публикаций Е. Берестовского в «Уй Тюкер» (перепечатка статьи «Гнилая сенсация»). Приведем некоторые выдержки из ее письма:

«Е. Берестовский в своих публикациях утверждает, что Ференц Швигель мошенник, фальсификатор, что возмутило венгерскую общественность и особенно его родственников. Ференц Швигель родился в 1888 г. в Южной Австрии, в селе, которое находится на границе Австрии и Словении и после распада в 1918 г. Австро-Венгерской монархии входит в состав Люблянского района Югославии. Умер в Будапеште в 1958 г. До 1920 г. он носил фамилию Ференца Швиегела (по-немецки Швиегел). Берестовский напрасно говорит, что он не был военнопленным. Он попал в плен в 1914 г. и находился в Сибири до 1920 г. Посылаю Вам фотографию венгерских военнопленных первой мировой войны, среди которых в первом ряду с большими черными усами Ференц Швигель. Фотография была отправлена из Сибири своему отцу через Югославское консульство. На переднем плане видно таблицу с надписью: «Военнопленные в русском лагере в Сибири». Фотографию эту передала мне племянница Швигеля Магда Товт — антрополог, ей 71 год. Она дочь младшей сестры Ференца, Магды Швигель. Е. Берестовский нанес большое оскорбление своими публикациями не только покойному Швигелю, но и его родственникам.

Недавно я встретила Яноша Чуру, уроженца Виноградова на Закарпатье. Этот 30-летний мужчина в 1977—1982 гг. служил в рядах Советской Армии в Венгрии, здесь женился и имеет двоих детей. С Яно-

шем Чуру служил некий Иванов из Забайкалья, который рассказывал Яношу, что в его селе на могилу венгерского поэта Александра Петровича молодежь постоянно приносит свежие цветы, но он не знал, что у Шандора Петефи была настоящая фамилия Петрович. Как найти сейчас этого Иванова, чтобы узнать у него, в каком сибирском селе находится могила Петровича? Не о баргузинской ли могиле идет речь?»

Еще одно интересное сообщение из Венгрии. На этот раз публикация в журнале «Будапешт» № 3 за 1988 г. статьи Кароя Кишша «Петефи в Сибири?» Приводим некоторые выдержки из этой большой статьи:

«Когда в январском номере «Будапешта» мы познакомили читателей с работой двух советских исследователей, полагающих, что в Сибири найдена разгадка судьбы Петефи, мы не намеревались брать на себя решение этой тайны. Советские исследователи считают, что поэт не погиб на поле сражения у Шегешвара, окровавленный, он сумел выкарабкаться из братской могилы и несколько гуманных русских офицеров и казаков помогли ему остаться в живых. Неизвестно из каких соображений, но эти безымянные солдаты уберегли Петефи, не допустили, чтобы он попал в руки австрийцев. Затем с транспортом военнопленных отправили его в Сибирь, где до самой смерти жил под именем Александра Петровича.

В общественном мнении относительно гибели Петефи бытуют различные представления, однако наша публикация вызвала отклики и из Вены, Парижа, Кембриджа и Голландии, в которых одобряли нашу формулировку, а именно, что «если бы имелась только одна тысячная доля вероятности, что углубленное изучение архивных материалов может доказать правдивость версии о таинственном нахождении нашего поэта в Сибири, изучение это заслуживало бы всех усилий».

Потом идет интересное сообщение о находке архива Бема и списков военнопленных, вывезенных в 1849 г. в Сибирь. Находка эта принадлежит кинорежиссеру Андрашу Балайти, побывавшему уже дважды в Бурятии.

«Недавно будапештское издательство «Эуропа» выпустило книгу А. П. Щербатова «Паскевич в Венгрии» с приложением документов. Автор ее был генерал-лейтенантом царского генерального штаба. Его труд впервые вышел в Санкт-Петербурге в 1899 г. и до сих пор является важнейшим источником сведений для историков, занимающихся рассматриваемым в нем периодом. Особую ценность представляют приложенные к тексту Щербатова документы: 112 писем, заметок, докладных записок, планов военных действий, отношений, рескриптов, представлений. Эти чрезвычайно важные письменные материалы были найдены в архивах генерала Паскевича. Первый из документов (письмо царя Николая I Паскевичу) датирован 12 января 1849 г., последний — высочайшее послание Франца Иосифа I князю Паскевичу с выражением императорской благодарности за любезную помощь, которую оказали царские войска в наведении в Венгрии порядка,— датирован 10 августа 1849 г.

В письме Паскевичу из Варшавы от 12 августа 1849 г. Николай I пишет: «Хотя твой курьер, любезный мой командующий, и не прибыл, я почел за нужное послать тебе копии нескольких писем, кои Кошут направил Бему. Оригиналы писем находятся у меня. Людерс при похвальных военных действиях нашел их в захваченной повозке Бема...»

Фон этого послания: после потери венгерскими гонведами шегешварского сражения вещи Бема, в их числе и военный архив, попали в руки русских. Венгерские историки издавна мечтают, чтобы этот архив был когда-либо обнаружен. Мечтают об этом и петефиведы, так как в архиве могут оказаться составленные поэтом официальные бумаги, письма, черновые наброски. Но архив Бема до сих пор так и не был найден.

Однако — насколько мне известно — венгерские исследователи не очень-то прилагали усилия для розыска хранящихся в со-

ветских архивах, связанных с Венгрией, документов от 1849 г. Почему?

За последние 40 лет в Советском Союзе училось несколько тысяч венгерских стипендиатов. Интересно было бы подсчитать, сколько венгров получило дипломы историков и литературоведов в советских университетах. И сколько венгров училось в СССР в аспирантуре, сколько сотен и тысяч было там в различных профессиональных и учебных командировках. И никому в голову из них не пришло серьезно заняться поисками военных документов генерала Бема...

Стоит поразмыслить и над тем, что в последние четыре десятилетия историки и публицисты писали—если вообще писали—об интервенции царской армии в 1849 г. с какой-то стыдливой манерностью. Руководствуясь каким-то неправильным пониманием политического такта, они едва ли не с боязнью выговаривали, что, в конечном счете, венгерскую освободительную борьбу разгромила насчитывавшая 185 тысяч человек армия русского царя Николая I. Я подозреваю, что эта позиция таится за фоном многих вопросов и сегодня, хотя дух времени, дух гласности побуждает как раз к обратному, к тому, чтобы как можно скорее пролить свет на еще невыясненные вопросы нашей общей истории.

После опубликования в нашем журнале статьи о сибирской легенде в редакцию «Будапешта» сначала по телефону, а затем лично обратился Андрош Балайти. Он рассказал, что две недели тому назад возвратился из Советского Союза, точнее из Бурятии, куда ездил для встречи с советскими исследователями судьбы Петефи. Балайти хотел непосредственно на месте познакомиться с легендой о жизни Петефи в Сибири. Дорогу туда и обратно он совершил через Москву.

Еще летом 1985 г. он из передачи по радио «168 часов» узнал о поисках Петефи, выслушал и мнение венгерских ученых. С этого времени он занимается только тем, как раскрыть загадку Петефи. А ведь мог бы найти себя в кинематографии, где его знают как хорошего режиссера. Он все силы направил на тайну Петефи, следит за прибывающими из Бурятии новыми вестями, читает и собирает статьи, появляющиеся в венгерской печати.

В легенде о Петефи одним из ключевых является вопрос: захватила ли с собой военнопленных возвращавшаяся в Россию царская армия? А из него вытекает и следующий вопрос: действительно ли в советских архивах имеется много до сих пор никем не «вскрытых» русских и венгерских документов 1849 г.?

А поэтому он первым делом обратился к руководителям нескольких советских архивов с просьбой сообщить, хранятся ли у них венгерские или связанные с Венгрией документы. В ожидании ответов он стал расследовать, имеются ли какие-нибудь до сих пор не публиковавшиеся материалы в отечественных общественных собраниях. Ему повезло: он обнаружил докладную записку под названием «Описание боевых действий русской армии против венгерских повстанцев в 1849 году», отпечатанную в 1851 г. военной типографией в Санкт-Петербурге. Докладная записка содержала краткое описание и шегешварской битвы, заканчивающееся такими словами: «31 июля противник потерял восемь пушек, четыре повозки с боеприпасами, два знамени, много оружия. Мы захватили командирский экипаж Бема, его архив и обоз».

Летом 1986 г. дело приняло неожиданный оборот: Балайти получил письмо от Главного архивного управления при Совете Министров СССР. Целесообразно полностью привести его текст:

«Уважаемый товарищ А. Балайти, в связи с Вашим обращением в советские архивы относительно установления судьбы Ш. Петефи, сообщаем, что в Центральном государственном военно-историческом архиве СССР имеются указанные в приложении к Вашему письму архивные материалы с описанием боевых действий русской армии в 1849 г. и неполные списки венгерских военнопленных. Эти документы могут быть представлены Вам для ознакомления.

Е. М. Кожевников. Первый заместитель начальника Главного архивного управления при Совете Министров СССР».

Когда Андраш Балайти побывал в Москве, ему показали документы, которые он с такой страстью искал. Он собственными глазами видел бумаги из архива Бема, а в них письма Кошута и генерала Гёргеи. Смог познакомиться и со списками военнопленных, в которых числится и Александр Петрович. Учащиеся венгерские студенты в Москве помогли ему как переводчики».

Итак, два главных вопроса: были ли вывезены в Сибирь венгерские военнопленные в 1849 г. и был ли среди них Шандор Петефи — почти разгаданы. Обнаружены списки, хотя и не полные, военнопленных, в которых значится и Александр Петрович. Есть и архив Бема, который нужно тщательно обработать, ведь там могут быть очень интересные документы. И все это нашел не исследователь-профессионал, а исследователь-любитель, у которого, как пишут венгерские товарищи, нет диплома историка или литературоведа, но есть желание найти истину таинственного исчезновения Петефи после шегешварской битвы.

В связи с этим мы думаем, что пользу разысканиям в обсуждаемой проблеме Петефи больше всего принесла бы доброжелательная дискуссия. Широкое общественное обсуждение более чем вековой тайны великого венгерского поэта и революционера необходимо. Мы надеемся, что и читатель согласится с нами — рано ставить точку в этой проблеме, имеющей международное значение.



Любовь **ЩЕДРОВА**

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЛЕПЕШКИ

РАССКАЗ

Наконец-то дождались: и сибирское солнышко стало всходить раньше, греть жарче. Земля мигом подтаяла, днем — вовсе кисель.

Таня разбудила внуков, чуть зорька заиграла. У Коли на ногах материны унты, только утром да вечером и можно в них пройти. Днем, пока Коля из школы до дому добежит, эта обувка уж и раскисла.

Надо успеть провернуть дело, пока земля схвачена морозцем, и до школы: ребятам — на ученье, Тане — на службу. Затемно сбегала туда, печку затопила. А днем Танина служба — звонки на уроки подавать, после уроков полы подмести. Мыть их помогает Маруся, ей двенадцатый годок пошел, расторопная. Да и Коле — десятый, тоже дров поднесет, сам и в печку их подкинет.

По годам, так теперь бы Тане и с печки не сползать. Седьмой десяток коптит она белый свет. А молодая была верткая, ловкая, долго не старела, так и привыкли в деревне, что ее годы не берут. И теперь, прямо обращаясь, еще назовут люди теткой Таней или бабушкой, а за глаза все Таня.

Единственный сын Танин на фронте, а невестку прошлогодней зимой на лесозаготовках деревом придавило. Вот тебе и возьми — на войне, слава богу, сын живой, а тут пушки не бухают, и нет человека.

И достался этот год, особенно зима. Еще и Ночку пришлось картошкой подкармливать. Сеном колхоз помог, да много-то его где взять и колхозу? А без коровы вовсе бы зарез.

И в подполье ни единой картошечки. Весной ее мало посадили, с ребятишками сколько чего осилишь? А зима-то — матушка!..

Таня с осени запомнила, где свои, деревенские, на колхозном поле картошку копали, а где — городские. У этих и сноровка не та, да и старательность тоже.

Сама взяла лопату, Марусе и Коле дала по мешочку. Вспаханная земля хоть и улежалась за зиму, но поддавалась лопате легко. Таня выбирала мелкие ямки. Скрипнет подмерзшая корочка, воткнешь лопату поглубже, вывернешь, глядишь — есть! Ах, как худо работали городские, руки бы повыдергивать! Зато внуки то и дело вскрикивали:

— Вот! Вот ишшо! А вот-ка: ажно целый куст! — Они шустрые, востроглазые: и под бабушкину лопату смотрят, и вокруг успевают оглянуться.

— Но и ладно,— Таня тоже довольна.— Ить гольный трахмал, лепешечек напекем!

А спина у Тани — будто в нее кол воткнули, и ноги, как березовые чурки. И поднимет Таня комочек, он — то камень, то земля. Пролежавшая с осени в земле картошка высохла, вымерзла, почернела. «Чисто, как и я!» — сравнивала Таня. Свои руки — черные, морщинистые — от этой картошки не отличить.

Одна забота у Тани — война будто бы к концу идет, чтоб памяти о ней, о прок-

лятой, не осталось! — посмотреть бы на сына хоть одним глазком!

«Хоть бы Ванечка как-нибудь уцелел, лишь бы до него дотянуть!» Передаст ему Таня внучат с рук на руки: «Вот, сынок, правдой-неправдой, а сохранила!»

Потом и на покой не страшно — на вечный покой, в сырую землю. Она поит, кормит, она же и кости приберет. Первый муж у Тани был в японскую раненный, недолго прожил. Второго на германской убили. Сына Таня одна поднимала, тоже в обносках бегал. И тихим рос. Но однажды соседская девчонка в омут попала, стала тонуть. Другие ребятишки растерялись, а Ванечка мигом ее вытащил. И на фронте, может, то спасало: где надо, Ванечка не растеряется.

— Ужо отец вернется, эко заживем! — не устает утешать Таня себя и внуков.— Отец у вас — золотые рученьки! Живо тут все образует, оденет вас как следует и накормит. Вы хоть помните его?

— Ты, бабка, пошто така-то? — обиделась Маруся.— Я пошто тятю помнить не буду, ить уж больша была!

— А как жа! — отозвался и Коля.— Наш тятя во-о-от такой! — еще и на цыпочки приподнялся, еще и руку над головой поднял.

Бледное Колино лицо будто и взрозовело от алой зари, от бодрящего утреннего воздуха. Глаза отцовы — ягодки-голубички — блестят.

Нет, не помнит Коля отца, где же — совсем маленьким был, Ванечка ростом невелик, лицом, может, так и сяк, да какой же матери сын не представляется прекрасным из прекрасных? Тем более, что четыре года его не видела. Да под пулями он. Каждый день почту жди и гадай: треугольничек или конвертик? Горе, если кому подаст почтальонша конвертик, еще не распечатав его, люди поймут — горе. Но, может, обойдет оно на этот раз Танину избу?

— Нам бы маненько перебиться — до травки. А там щавель пойдет, Ночку на траву выгоним, молочка больше даст. А там и — тятя ваш... Заживем!

— А я саранки буду копать! — подхватывает Коля.— Целое ведро накопаю! — И прыгает радостно: — Во! Маруська, бабка, глядите—нашел два куста!

— Ты фартовый, Коля! — хвалит бабка.— Ты большой вырастешь, шибко удалый да умный будешь!

— Я, первым делом, тебе одежу новую куплю: полушалок, теплую курмушку и фартук, а то он у тебя — заплатка на заплатке! — обещает Коля.

Маруся из пальтишка выросла, теперь в нем Коля. Перехваченная вместо пояска шнурочком, почти вдвое обвила тоненького мальчика эта одежка. Рукава закатаны до локтей.

— А я на фершалицу выучусь! Мигом тебе вылечу и спину, и ноги,— не отстает в посулах от брата и Маруся.

Она в мать, скуластенькая, а глаза тоже Ванины, веселые, с легким взглядом. Вытянулась, материно пальто почти впору. Недоедают дети, мерзнут, а растут.

...Шарятся по черному прошлогоднему полю дети и старуха. Им много ли надо? Сколько-нибудь соберут картошки, день-два, а то и больше обманут. Мерзлая она, высохшая, а все — приварок.

Заря затухает, солнце поднимается. Небо широкое, чистое, ласковое. Земля пахнет свежей сыростью — такой знакомый, но каждую весну будто и новый запах. По закрайкам пашни — кустики, на них проснулись пташки, чирикают, тоже новую жизнь начинают. Тому и война не указ!

Внуки скачут вокруг старухиной лопаты, тоже как пташки. Тоже довольны немногим.

— Ничо, ничо,— говорит Таня, подбадривая себя.— Ничо, выдюжим! Зиму пережили, а уж летом-то не помрем!

Она умильно взглядывает на внуков, прислушивается к их звонким голосам, и вовсе мякнет душа у старухи:

— Вот и еще одну весну довелось встретить. И помру — в землю лягу, горсткой земли, а — буду!

Мешочек набрали, еще раз-два тудасюда прошли, и второй почти полный.

— Притомились, поди?

— Нет, бабка, нет! Картошка-то, вон как браво попадается!

— Хватит, однако!

Но вечером, когда опять лужи прихватило, внуки и еще на поле сбегали. Таня же весь вечер чистила картошку. Нельзя ее долго в тепле держать, которая вовсе закаменеет, которая растает и

сгниет. Пропадет добро, так ведь Таня тогда изведется — еда ведь!

Кожура с мерзлых картофелин снималась, как с вареных. На раскаленный верх железной печки Таня ложкой бросала растертую, в воде размоченную картошку, крахмал сразу схватывался. Переверни, обжарь с другой стороны, лепешка готова. Спасибо, и соль была. Раньше ее запасали пудами, мешками, не принято было соль щепотками покупать. И угодило — всю войну хоть солью не бедствовали.

Накормила внуков Таня уже перед сном. Ели, похваливали:

— Вкусно! И в избе пахнет, будто мама калачики печет!

И оба головы повесили, у Тани сердце прямо-таки кровью запеклось. О матери дети никогда не говорили, бабка тоже не напоминала, чтобы не рвать души себе и им. Иной раз и такое в голову приходило: «Дети ведь! Второй год пошел, как матери нет, может, и забывать о ней стали? Жизнь увечит, а время лечит!»

Да посмотрела на них сейчас, присмиревших, уткнувшихся носами в стол,— нет, ничего не забыли. Можно ли мать забыть?

Сильная была, работящая. За хорошую работу колхоз что-нибудь да подкинет. В последний раз заскочила в бане помыться, на ребятишек взглянуть. И муки немного привезла.

С лесозаготовок люди месяцами домой не показывались. Невестка вырвалась, так решила и побаловать ребят, напекла калачиков. Ели они ржаные витушечки, а мать сидела напротив, так и светилась вся. А глаза у ней были — спелая черемушка, и в них невыплаканно стояли спелые бабьи слезы. Так и запомнились Тане эти мокрые, страдальческие глаза на веселом лице невестки.

Будто предчувствовала, что в последний раз видит детей, будто прощалась.

Внуки спать легли, а старуха все сидела. Она не умела долго и мудро рассуждать. Раньше умничать некогда было, теперь и вовсе. Привыкла Таня брать жизнь больше не умом, а сердцем, оно и взгомонилось. И Таня знала: просто так не уймется.

«Кровиночки мои, как страшно обожжены ваши душеньки! И то сказать: старое сердце надрывается, бывает глохнет в горе. А у детей оно еще и силы не набрало. Если его не радовать, оно, и не раскрывшись, может закаменеть. Какие же это будут потом люди — без сердца! — Снова и снова видела старуха, как протягивают дети руки к калачикам, хрустят на мелких белых зубах подсушенные корочки... Глаза счастьем умыты, радостью подкрашены... — С утренней дойки молока литра три взять да этих лепешек... Хоть один или два, если повезет, купить бы калачика — если рублей сто наторговать! — Прикидывала Таня, размышляла. — До города версты три, это не ходьба. В школе можно вместо себя Анну уговорить, тоже старуха, поймет, посидит, — подстрекала себя Таня. — Я мигом обернусь!».

Задумано — сделано. Утром шагала она по раскисающей дороге с котомкой наперевес: впереди кастрюля с лепешками, сзади четверть с молоком.

День на славу, цель светлая, и дорога не в тягость. Солнце горбушку припекло — тоже не последнее дело. Одной рукой Таня поддерживала котомку, чтоб с плеча не сползала, другой опиралась на палочку, чтоб не скользить.

Шла и мечтала: сдобные бы отхватить! Еще и высмотреть надо, спекулянты хлебом прячутся, да уж как-нибудь...

Молоко до базара не донесла. Только вошла в город, выскочила из калитки женщина:

— Почем, бабушка?

В деревне говорили, что молоко на базаре по двадцать рублей за литр, но Таня схитрила, сказала на пятерку больше, мол, торговаться станет, можно и сбросить. А покупательнице, видно, и торговаться некогда.

Освободилась Таня от молока, вовсе налегке пошла дальше. В кастрюле лепешек, если по рублю продавать, не меньше, чем на полсотни. Считала их, когда пекла: сколько ложек на печку плеснула, да сбилась. Потом еще несколько штук прибросила — на всякий случай, если ошиблась. Чтоб уж наверняка, чтоб на два калачика!

Первая удача распалила, о дальнейшем думалось с легкостью. Возьмут люди ее лепешки, всего-то рубль цена! «С

руками оторвут!» — предрекала Таня, вспоминая женщину, прямо-таки вцепившуюся в четверть с молоком. Переливая его в свой бидон, та долго держала бутыль вверх донышком, чтоб до последней капли молочко стекло. Наголодался народ, намучился.

Военных, приметила, на улицах много. Это в такое-то время, когда Ванечка на фронте! Но ведь граница рядом, рукой подать — японцы. Таня помнила, сколько от них натерпелись в гражданскую войну. В каждом огороде в деревне и сейчас нарыты окопы. Председательша несколько раз прибегала к Тане, грозила: «Ты, старая, хоть о внуках подумай!» Пришлось ковырять этот окоп — живую могилу около дома.

Народу на базаре много, да все больше с вещами: несут люди, ничего не жалеют, лишь бы разжиться деньгами да что-нибудь из еды прикупить.

Таня решила сначала прицениться. Обошла прилавки, товара, подобного своему, не увидела. «Вот и ладно!» Но у молочного прилавка земля из-под ног пошла. Вздорожало молоко: тридцать пять — сорок рубликов за литр!

Колхозники редко выбираются на базар, где уж им уследить за ценами... «Ах, я — дура старая! Ах, пень трухлявый! Что наделала! Экие деньги из рук выпустила! Ведь и калачики могли подорожать, и, может, всего какой-нибудь десятки не хватит!»

Проклиная себя, примостилась на видном месте, поближе к воротам. Хоть бы тут не продешевить, хоть бы не с пустыми руками домой прийти! Сколько сиротки по полю пластались, собирая эту картошку!

Но и крышки снять не успела с кастрюли, загомонил народ. Побежали люди куда-то мимо Тани, валом повалили. Кричат, руками машут. Таня ничего понять не может. Сгребла кастрюлю, прижала к себе — не дай бог, выбьют из рук, все дело пропало.

В магазине что-то выбросили, или еще какое светопреставление? Граница-то близко, что если?.. И Таня тоже ринулась: скорей домой. Если уж что, так хоть всем вместе!

Да на своих чурках выскочила из ворот, наверное, последней. Но — что такое? Люди: кто смеется, кто плачет. Знакомые — незнакомые — все подряд обнимаются, целуются. Военных тискают. Один взметнулся над толпой, другой. Шапки держат, чтоб не упали, тоже плачут, не стесняются.

— Да скажите же, люди добрые, что случилось-то?

— Победа, бабушка, победа! — Кто-то схватил и Таню за плечи, не поняла, кто.

Ощутила на своем лице мокроту, и ноги подкосились. Будто весь груз четырех лет и этого, последнего, особенно горького года ощутился, придавил, сбил с ног. Села прямо в растоптанную грязь посредине улицы. То ли чужие слезы размазывала по лицу, то ли свои... Сколько ждала этого часа, а пришел он, и отметить, кроме слез, нечем.

И тут увидела, что крышка с кастрюли слетела, видимо, когда сама падала. Черные жесткие лепешки, да ведь — еда!

Таня выхватила пригоршню:

— Милые мои, подходите! — закричала, как могла, громче. — Подходите, дорогие мои! Больше-то у меня ничевымничего, а лепешки-то крахмальные да с солью! Ешьте да живите! Берите да ешьте! Да только живите, родные вы мои!..

ЛАФА

РАССКАЗ

Зайдет речь о войне, о военном времени, тотчас вспоминаю я забайкальскую зиму сорок четвертого года, светлый, просторный зал...

Вижу в нем себя и подружку Панку. На мне вязаный платок, чтоб уши не продувало, я поддела под него какую-то тряпку. Платок сбился, линялая тряпка

вылезла на лоб. Панка шепчет: «Ну и растрепа же».

Ей хорошо! Ее шапка-ушанка подвязана под подбородок туго, выбились из-под нее кудри — из кольца в колечко.

Телогрейки у нас без пуговиц — где их взять? Мы запахнули одежки, перепоясались веревочками — тепло и удобно. Однако вид далеко не форсистый, платьишки — веретеном встряхни.

Еще весной Панка выклянчила у кого-то солдатские обмотки, мы смастерили из них подобие чулок, но для тепла надели поверх брюки: я отцовы, Панка, не знаю, чьи. Гачи брюк я заправила в отцовские же ичиги, Панка в унты, будто бы кто-то тоже их подарил. Унты и ичиги размеров на пять наших ног больше, но то — мелочи.

А в зале одни военные. Их наглаженные гимнастерки, казалось, похрустывали под ремнями. На гимнастерках планки медалей, ордена, звезды на погонах...

С утра проходило совещание хозяйственников. Мы, только что закончившие курсы бригадиров, тоже приглашены на него, но староста курсов тетя Вера сказала: «Ничего интересного для вас там не будет. Хоть напоследок по городу побегайте, вон какой солнечный день!»

Отсидки по восемь часов за два месяца нам порядком надоели, совет приняли безоговорочно. Но холодный, угрюмо насупившийся город и солнце не украсило. Нас привлек базар. Денег, конечно, ни гроша, да хоть поглазеть. Чего только нет на базаре: молоко, пирожки, даже хлеб — триста рублей «кирпичик» — ешь, не хочу!

Панка, присмотревшись, облюбовала прилавок с семечками и орехами: мешков на нем полно. Чтоб не вызвать подозрений у бдительных торговок, мы с Панкой двинулись с разных сторон, навстречу друг дружке. Зацепив из мешка с десяток зернышек, одно-два расщелкивали, морщились: «Пересушенные! Гнилые, пустые!» Оставшиеся незаметно ссыпали в карманы, и, пропустив для вида же сколько-нибудь мешков, подходили к следующему.

Сначала торговки приглашали: «У меня попробуй!» Орешки — десять рубликов за стаканчик, и не продукт — забава. Люди мало и подходили к этому прилавку. Потому торговки радовались каждому наклевывавшемуся покупателю.

В карманах уже кое-что скопилось, да, осмелев, я принялась захватывать побольше. Сметливые хозяйки тотчас поняли, что мы за птицы.

— С тобой никакого дела не провернешь! — ругалась Панка. От заманчивого прилавка пришлось ретироваться спешно и далеко.— И половины не перепробовали. По целому карману надыбали бы!

Ее светлые, выпуклые глаза, быстрые, жадные, ничего не пропустят: все усмотрят. Но пошатались мы по базару до полудня, больше ничего подходящего не высмотрели и Панкины глаза. Хлеб ведь попробовать не дадут!

Как всегда, я виновата. Такая уж уродилась! То ли дело Панка! Не она, так мне бы и курсов не видать.

Мы живем и работаем в подсобном хозяйстве, наскоро созданном около Читы большой военной организацией — фронт надо кормить.

«Мы» — это еще и другие девчонки, и эвакуированные женщины с запада. Даже мальчишек нашего возраста в подсобном почему-то нет. Да и поселок — длинный дощатый барак, с полдюжины землянок. Контора, школа, столовая, птичник — все землянки.

Из мужчин у нас: агроном, начальник да мой отец — конюх. Он вернулся с войны контуженным, заботы о пяти подсобновских клячах ему достаточно, чтоб по вечерам замертво сваливаться на кровать. Но утром поднимется: живой, дома! Наша семья самая счастливая в поселке.

Отец попал в подсобное по направлению из военкомата, перевез сюда и нас. Мне пришлось остановить образование на шестом классе, тут школа начальная. Да и родителям помогать надо, не до ученья, я старшая из детей.

А хозяйство в подсобном — ого-го! Мы выращиваем пшеницу, ячмень, овес, просо, гречиху, овощи, даже табак. Ох, уж этот табак! Ломаешь, ломаешь листья, а они растут и растут. Руки в мозолях, это ладно, но кожа пропитывается со-

ком — темным, несмываемым и едким. Впрочем, и то еще не работа. Чурку для газогенераторных автомобилей пилить, вот это да! Бревна нам на козлы не поднять, пилим на земле, согнувшись в три погибели. Пилы тупые, бревна мерзлые, пилить мы не мастера — пилы то и дело заносит вкось.

Пилим только зимой, летом не до того. Сами от чертовой работы мокрешеньки, а пятки примерзают к земле. Пилим день, неделю, месяц — сколько же ее нужно, этой проклятой чурки!

А кто-то в это время «прохлаждается» в овощехранилище, перебирая картошку. Там куда теплее, сырую картошку ешь сколько хочешь. В овощехранилище — если попадем! — работаем припеваючи: по целым дням распеваем песни. Тоже не последнее дело. Взрослые женщины только и знают, что плачут. Получат похоронку — плачут, получат треугольничек с фронта — жив пока родной человек! — все равно плачут. И клянут Гитлера: «Что мы тебе сделали, чем досадили? Из-за чего ты обрек нас на такую муку? Чтоб тебе ни дна ни покрышки! Чтоб твои шары полопались от людского горя! Чтоб тебе, чушке, не видеть ни неба, ни земли! Ни тебе, ни твоим холуям!»

А мы, девчонки, поем. В овощехранилище что не петь? Поем и назло Гитлеру. Если бы нас пустили на фронт, мы бы им, этим фашистам! Мы бы им в рожи плевали, глаза ногтями выцарапывали, мы бы их, как клопов, кипятком шпарили!

Но на фронте обходятся без нас, нам работать надо. Мы ни от какой работы не отказываемся, но постоянно хочется есть. Голод донимает больше, чем летний зной или зимняя стужа. И что за чудовищное существо человек, как много ему требуется еды! В четырнадцать-пятнадцать лет это существо прямо-таки ненасытно. Наши зубы готовы проволоку жевать, если бы можно было ею утолить этого дьявола — желудок.

Летом еще так-сяк. Идем с поля, нашелушим зерна с пшеницы или с гречки, хоть по горстке. Работаем на турнепсе, на капусте — пустая еда, но все-таки обманешь утробу. А зимой желудок — лютый враг. И в подсобновской столовке выдают обед только раз в день: суп из трех круп и хлебный паек сельский — урезанный.

Потому, куда попасть на работу: картошку перебирать или чурки пилить — не пустяк. Панка — раньше всех у конторы, вертится, умильно заглядывает в глаза агроному и бригадирше, услужливо бросается выполнять поручения. И, конечно, это она узнала о приказе, обязывающем начальника послать в Читу на курсы двух бригадиров. Надо же: ни больше ни меньше!

— Айда к начальнику! — скомандовала Панка. — Три раза в день кормить будут — лафа!

Начальник — капитан Бородавкин — бровастый, неразговорчивый. Никто никогда не видел его улыбающимся. К тому же, он один в поселке носил военную форму. Агроном был гражданским, у нас говорили: «Сидел на броне».

Перетянутый портупеей полушубок делал худощавого немолодого капитана еще более строгим. Но в первый же год в подсобном появились детские ясли, школа, даже врач. Раз в неделю у нас была обязательная баня, в которой выдавалось мыло. Два-три раза в лето капитан урывал деньки, выделял машину, и катили мы в лес за ягодами, за грибами, иногда и купаться на Кенон — есть такое озеро около Читы.

Заглянул как-то капитан под навес, где мы пилили чурку, тотчас распорядился привезти соломы, настлать под ноги. За три страшных года, что наша семья прожила в подсобном, не было там ни единого случая смерти, увечья, обмораживания.

Но заговорить с начальником отважился не каждый. Я к нему до того ни разу не подходила, да мысль, что самые лютые месяцы — январь-февраль — можно просидеть в тепле, в сытости, переборола робость.

Явились мы с Панкой в контору, пристали к товарищу Бородавину:

— Отправьте, чему-нибудь подучимся!

Посмотрел он на нас, наверное, подумал: «Какие из вас бригадиры!» А выхода не было. Взрослые женщины все с

детьми, матерей отправить, а детей куда? Мы к тому же как-никак одеты, обуты — снаряжены. Вся статья нас послать, приказ-то выполнять надо.

Неизвестно, что начальник подумал, но на курсы нас откомандировал. Бригадиров из нас, конечно, не получилось, но звеньевыми после работали — куда с добром. Правда, это поколебало нашу с Панкой дружбу. Картошку полоть пойдем, мнится: тому звену дали участок почище. Капусту поливать станем, передеремся. Вода шла из лесу по канавам. Каждое звено норовило пустить ее на свой участок побольше. Капустка водицу любит, а полить рассаду надо успеть до солнышка — до жары. Вот и ярились. Где словом не возьмешь, пускали в ход силу. Зато капуста удавалась, иной вилок еле поднимешь. Осенью мы с Панкой получили почетные грамоты «за стахановскую работу и выращивание высоких урожаев».

Но то пока все впереди.

Два месяца просидели, правда, не в тепле. Дом колхозника, в котором нас поселили, почти не отапливался, а мороз на улице, бывало, и за сорок переваливал. Берешься вечером за одеяло, а оно вроде бы прогромыхает, как железо. Лезть под одеяло все равно что заживо в гроб ложиться.

Панка предложила спать на одной кровати: на двух тюфяках мягче, под двумя одеялами теплей. А перед сном убежит, не искать же! Ложусь в постель первой, только согреюсь, тут и Панка — вот она. Шасть ко мне под бок холодная, как ледышка, бр-р! Весь сон враз отскочит.

А сон отойдет, тотчас желудок о себе напомнит. С кормежкой у нас тоже вышел просчет. На завтраки — по ложке каши, чай, хлеба сто пятьдесят граммов. На ужин чай и хлеб, ломтик не толще. Лишь на обед щи и караси. Наверное, специально кого-то отряжали за ними на Кенон. И что удивительно, будто по одной мерке эта рыбка росла. Хоть на грамм больше тела накопить, ей словно заказано было. Изгрызешь плавники, хвостик, а в желудке, как в бездонной промоине. Дома хоть работаешь, отвлекаешься, а тут сиднем сидишь, только об еде и думаешь. Но все-таки лекции слушать, не чурку пилить.

Со всей области съехался на курсы народ: бородатые деды да женщины. В группе из тридцати человек лишь мы с Панкой «кутята», как звала нас тетя Вера — староста.

Она приехала из-под Борзи, далековато от Читы, за ночь не обернешься, как это делали те, кто жил поближе. А детей и корову оставила на соседей — не было в ее деревне таких, как товарищ Бородавин.

— На кой этот треп выдумали? — ругалась тетя Вера, но вообще-то даже бородавки, густо усыпавшие ее припухлые веки, были мягкие, добрые.— Ведь что агроном прикажет, то и делать будем. А корова у меня — чисто беда! Чужих сроду не подпустит, убудет молоко, заморю ребятишек!

Тете Вере и другим женщинам, у кого дети без присмотра, не до учебы, не до севооборотов. Деды не все и расслышать могли. И мы с Панкой мало полезного почерпнули с курсов. Что такое «удобрение» — понятно, а что кроется за словом «органические», кто его знает!

То одна, то другая слушательница, придумав подходящий предлог, смывалась домой, под конец половины не осталось. А под конец-то и выпала самая лафа.

К концу курсов начальство приурочило это совещание, после него, решив побаловать людей, назначило торжественный обед. Чем было вызвано это торжество, нас с Панкой не интересовало.

Приглашение — не приказ, который по военному времени нельзя не выполнить. Слушателей курсов и обед не удержал. Женщины же еще и на свои унты-ичиги посмотрели... Какое уж тут торжество!

На совещание мы с Панкой не пошли, тетю Веру послушались, а от обеда нас сам господь бог бы не отговорил. Тем более, что у старосты остались нерозданными все талоны. Они — пропуск и, видимо, для отчета тем, кто за обед в ответе. А тетя Вера и сама спешила на поезд.

— Куда я их? — мучилась, растерянно глядя на талоны.

— Дайте их нам,— не упустила слу-

чая Панка.— Еще неизвестно, что на них дадут, может, на зубок положить!

— И то! — обрадовалась тетя Вера.— Не расстреляют же меня, а вы хоть раз за всю войну досыта наедитесь...

Вспоминаю Панку и удивляюсь: до чего же она была ловкой! Я не знала, каким образом она оказалась в подсобном, никогда не упоминала Панка о своих родителях. Если человек о чем-то умалчивает, значит, есть на то веские причины. Значит, незачем лезть к нему в душу, как лягуша лапой. Я и не лезла.

После войны наша семья сразу уехала из подсобного. Мы встретились с Панкой лет через двадцать, обе замужние, детные — устроившиеся.

В Панкиной трехкомнатной квартире было чисто, тепло, не бедно. На столе, на белой скатерти, перед нами конфеты, печенье, варенье. А мы вспоминали курсы — наше житье-бытье в Доме колхозника, обед, торжественный ужин потому, что такого за войну не случалось, и после войны мы не сразу наелись, не скоро оделись. Нас еще ждал сорок шестой с его неурожаем, трудный не меньше, чем каждый из военных. Восстановление разрушенного почти целиком упадет на наше подросшее поколение, следующее за прореженным войной, выбитое из нормальной человеческой жизни.

Но когда встретились, все то было позади. На печенье-варенье мы и не глядели. Вспоминали и карасиков, которыми угощали нас находчивые устроители курсов, и плакали — выплакивали прошлую обиду: до чего же мелконькой была рыбка!

Панкины, в нее лупоглазые дочери посматривали на нас, хихикали.

Наплакавшись, я спросила подружку об ее родителях. Она посмотрела умоляюще:

— Не надо! — Но помолчала, собралась с духом, рассказала: — Помнишь, какой я была расторопной? Думаешь отчего? До войны семья у нас была — девять человек. Жили не богато. Какое уж богатство, если тянул весь этот колхоз отец один. Матери с нами забот хватало. А в такой семье, знаешь как? Кто смел, тот и съел, небось, станешь расторопной. Мама говорила: «Ты, Панка, на одном месте десять дыр провернешь!» Думала ли она, где и как мне этот навык пригодится! — Панка опять заплакала, но проморгалась и продолжала: — Всю семью — одной бомбой! Маленькой халупке много ли надо! А мы в Сталинграде жили. Меня дома не было, моталась по улицам, по подружкам. Пережидала бомбежку в каком-то подвале, вернулась домой: вместо избы — яма, и — где рука, где нога. Узнаю, мамины, братишек... А на отца похоронку еще в сорок первом получили...

Панкины дочери теперь стояли возле нее, словно ограждали с двух сторон мать. Я поняла, что больше расспрашивать не надо. Лучше бы и вообще не расспрашивать.

...Такой большой столовки мы еще не видели. Тихо, смирно в углу прижались, а казалось: стоим на всеобщем обозрении. И некуда спрятаться. Будто влезли нахально и боимся, что вот-вот попросят удалиться.

А столы уже накрыты, хлеба навалом, в тарелках что-то красивое, вкусно пахнет и с пшенной кашей. Котлеты были в тарелках — всего-навсего, но мы тогда не знали, как они называются.

Редепько расставленные бутылки с вином взбодрили прибывших на обед военных. В хозяйственниках числились не все завзятые тыловики, в основном те, кто после ранений не пригоден был к фронту. Лиха им доставалось, пожалуй, не меньше, чем в боях, как и нашему товарищу Бородавину. Угощение, да еще и со стопочкой, перепадало не часто.

Шумно, весело они рассаживались, а мы высматривали куточек, где бы пристроиться незаметно. Свободные места были, но как же нам, девчонкам-оборванкам, присоседиться к этим строгим, взрослым мужчинам? Наверное, мы впервые почувствовали, что уже не малышки, которым все простительно. Даже у Панки в глазах что-то туманное, неопределенное. И если мы в голос не ревем, то по той же причине: нельзя — не деточки!

Да не уходить же! Потом век будешь жалеть: от такого фарта отказались. К тому же в расчете на этот обед, нас уже лишили карасей, сняли с довольствия. Нам предстояло без ужина переночевать, утром натощак топать домой. От подсобного до Читы три часа ходу, от Читы до подсобного — три с гаком. «Гак» — за счет горки. Опоздаем к обеду и в нашу столовку. Меня родители, может быть, чем-нибудь покормят, а Панке кто что припас?

Офицеры собрали свои талоны, аккуратно сложили на краешки столов, а наши Панка крепко держит в кулаке — мне не доверила. Красивые чистые официантки легонько, как на крылышках, порхнули, собрали листочки в карманы фартуков. И тут одна увидела нас, приблизилась:

— Вам чего, девочки?

Тоненькая, белокурая и розовая, как херувимчик. Вздернутый носик, губки — невинным бантиком. Ярко-синие глаза, словно весенние цветочки. Словно сошла эта свежая, душистая девушка со сказочной картинки.

Ей пришлось повторить вопрос, только тогда Панка кулак разжала:

— Вот.

Официантка поняла, в чем у нас загвоздка. Отвела, усадила за стол, отгороженный от зала выступом, прикрывающим раздаточное окошко. Принесла по тарелочке, а они такие маленькие! Вилок или не хватило, или «херувимчик» догадалась, что ложки нам сподручней. Правильно решила. У нас в семье и до войны вилок не было. Отец работал возчиком, его зарплаты хватало на хлеб да на щи — вилками было делать нечего.

А ложками скребанули по тарелочкам... Но официантка тут же подставила другие. Талонов-то у нас! Да скоро ей подтаскивать по тарелочке надоело, принесла их целый разнос, потом еще один, уставленный стаканами с молоком, видимо, вместо положенного по талонам вина. Мы с Панкой переглянулись...

— Хорошо, что талонов много! — Панкины глаза блестели.— А все — я, говори спасибо!

Мне некогда говорить.

«Херувимчик» не отошла от нас. Странные все-таки у ней глаза — такие красивые и без тепла, без улыбки. Странное лицо — как застывшее.

Опершись кончиками пальцев о стол, замерла над нами и словно приковалась к стульям — приятно ли, если над тобой кто-то как на часах выстаивает? Но, может, боится, что мы своруем тарелки и вилки? Пусть стоит!

Мы разделись, телогрейки повесили на спинки стульев. Панка сняла шапку, и я стащила с головы платок. На столе не какие-то карасики! Приналегли со всем усердием. Сознание, что уйдем, оставив недоеденное, вводило в панику. Ведь завтра-послезавтра ничего этого не будет, только вспоминать да мучиться: не осилили! Однако не сомневались в себе, мы — не замухрышки. К тому времени уже больше года проработали, как сейчас бы сказали, физически и на свежем воздухе. Четырнадцать-пятнадцать нам никто не давал. Не вовсе же голодали — не ленинградским блокадным голодом, на все семнадцать выглядели. В работе не уступали и взрослым, а еду неужели не уберем? Быть того не может!

«Херувимчик» стоит, косынка и та — сама невозмутимость. Из раздаточного выглянули и остались в окне повара. Пробегая мимо, многозначительно взглядывали на нас и другие официантки — все белые, упитанные. Около комсоставской столовой они жили не впроголодь.

Мы старались не обращать внимания, но и глаза не поднимая, затылками чувствовали непростой интерес. В общем-то, плевать бы, да отчего-то пригибает нас это любопытство, словно и принуждает — будто из-под палки едим. Но уже понимаем: все не одолеть. Отказываем себе в хлебе, без него больше войдет. Потом и кашей попускаемся, уписываем только котлеты. Их оставлять будет горше всего, такой вкусной еды нам и пробовать не доводилось.

Потеем, отпыхиваемся. Но чем больше едим, тем сильнее хочется есть. Да что же это такое! Будто камнями себя набиваем, тяжелеем, раздуваемся, а сытности нет. В Панкиных отчаянных глазах, как в зеркале, я вижу и собственное горе.

И в уме не мелькнуло, хотя бы хлеб насовать про запас в карманы телогреек. Тащили зерно или картошку на подсоб-

ном, знали — попадешься, отвечать придется по всей строгости военного времени, но прятали добычу в рукава, в голенища обуви, в гачи брюк. А тут ведь не воровать, все наше, талонами оправданное. Но это деловитое любопытство «херувимчика» и ее коллег сбило с толку.

Впрочем и сейчас не скажу, только ли удивление было в их глазах? Но в спокойном, ясном взгляде «херувимчика» сочувствия не угадывалось. Ей, видимо, тоже впервые выпала лафа — понаблюдать, как едят изо дня в день недоедающие люди.

А нам уже невмоготу, хоть бы молоко выпить. Льем его в себя, как в бочки, лишь бы побольше. Глаза лезут на лоб — пьем. У тех, кто за нами наблюдает, глаза тоже прямо-таки выкатываются. Пьем и назло им.

Посидеть бы, передохнуть! А мы не догадались.

За выступом, что отгораживает нас от зала, громкие речи. Ведь сорок четвертый! Немец еще силен, под ним еще Прибалтика, Крым, Молдавия, часть Украины и Белоруссии. Бои идут в Ленинградской, в Калининской областях, но уже ясно: бить немца научились, наша берет! У военных было основание для бодрых речей. Нам бы послушать!

В подсобном не было радио, газеты попадали не часто. Нам бы послушать, о чем говорили военные, порадовали бы своих на подсобном. А нам не до того.

Но наконец сдались. Поднялись из-за стола, пошатываясь, выбрались на крыльцо. Солнце, морозное, но яркое, еще одаривало людей своей единственной милостью. А у нас все плыло перед глазами, мы опьянели от еды. Нам было так плохо, что, презрев холод, почти упали на ступеньки. Изнуренный войной город, каменное здание, пыльное крыльцо, предоставившее нам свои ступеньки, все казалось серым и все покачивалось.

— Тебе хочется есть? — спросила я Панку, наперед зная ответ.

Она подняла свои бедовые, ни перед каким лихом не отчаивавшиеся глаза, они были как слепые.

— Хочу, — сказала жалобно.— Очень хочу! — и заплакала.

Прохожу теперь читинскими улицами, вглядываюсь в каждое высокое крыльцо и никак не могу вспомнить, на каком мы сидели с Панкой после той, тяжелой трапезы. Но день тот помню весь, до последней пылинки на крыльце.

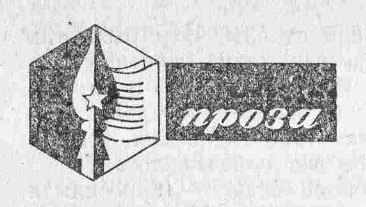
Любовь Ивановна Щедрова (г. Ангарск) родилась в Забайкалье в 1929 г. Ее биография типична для человека, детство и юность которого пришлись на военные и послевоенные годы.

Рано оставила школу, пошла работать, дальнейшее образование добирала самостоятельно. Работала на полях подсобного хозяйства, уборщицей, посудницей, машинисткой и доросла до библиотекаря, последние 30 лет — в пожарной охране. Это дало возможность знакомиться с людьми, с производством.

В 1965 г. стала работать внештатным сотрудником городской газеты и тогда же пришла в литобъединение.

В 1984 г. вышел роман «Ингода», над которым автор работала 15 лет.

Член Союза писателей СССР.



Валерий **НЕФЕДЬЕВ**

ВОЗВРАЩЕНИЕ БАБРА

РАССКАЗ

Наконец-то гости в сборе, пора начинать. Облачность — ноль баллов, волнение же в душе капитана — на все двенадцать! Ветер от Шаман-камня раздувает нетерпение поднять паруса, однако новорожденный корабль стоит еще на санях у деревенского дома за распахнутыми полами ворот. Час всего лишь, как он выехал из ограды на широкий простор, где перед ним впервые открылись зеленый косогор в цветущей во всю картошке, несколько корявых обветренных лиственниц впереди, с левого борта стена медноствольного сосняка, с правого — глубокий глинистый яр, за которым крутой спуск к воде...

Вода. С первого взгляда ее здесь не так много — всего две мили до противоположного кряжистого берега, на крутом склоне которого видны старые створные знаки, некогда указывающие судам фарватер Гамаюновской узкости на Ангаре. Гамаюн — вещая птица, ее именем был назван последний перед выходом в море перекат: он своим неумолчным шумом, клекотом и плеском волн, большими стаями чаек, постоянно пасущимися в приустье речки Большой, самым настоящим образом предвещал близость священных вод, скрытых отсюда всего лишь одним поворотом, одним, но таким тяжелым, ребристым, мощно отформованным из всего массива гор кристаллом. Это вверх, а вниз по течению река открыта взгляду на десятки верст, хотя там ее один за другим пытаются ступить многочисленные лобастые отроги. Там за каждым из них глубокий залив или бухта, раздольная падь или щель, речка или ключик. Там воды более смирные, кроткие, в то время как за Гамаюном, вернее за Шаманом,— самовластные, не стесненные береговыми излучинами, бездонные, вне какого-либо русла или фарватера, без узкостей и створов, гуляющие сами по себе, живущие своим собственным скрытым течением. Там батюшка Байкал. С ним скоро придется встретиться новому кораблю. А пока он не знает даже, что такое плыть, не то что ходить морем, летать по волнам, мчаться под парусами. Он знает лишь, как ровненько, послушно уровню стоять на стапеле в томительном ожидании движения, первого разворота, чтобы протиснуться между столбами, поддерживающими крышу сарая, и еще — как ехать на тракторных санях. Ведь он только что родился, что называется вылупился из яйца.

Четыре года корабль зрел, вынашивался, рос под навесом, начав от зародыша-киля и закончив палубой, внутренней отделкой и покраской. Он рос бы еще до самого клотика мачты, но помешала скорлупа сарая, почему и должен был скорее вылупиться, выползти на белый свет, показать себя, наконец, со всех сторон, во всей своей стройности и полноте. Однако как это трудно было сделать?! Проклюнуться, высунуть свой нос ему ничего не стоило — он давно почуял, откуда светит солнце, пригревая левый борт, и дует ветер, принося редкие капли дождя, — там не было перегород-

ки, а вот дальше... Дальше пришлось вмешаться строителю: выломать часть соседней стены, выпилить один столб и ухитриться при этом не уронить кровлю на оказавшегося неожиданно крупным своего утенка. Мало того: при развороте на девяносто градусов утенок, едва просунувшись в приготовленный таким образом проем, вместо того, чтобы взобраться по каткам на сани, осел носом, хвост его, вернее корма, поднялась и зацепилась ахтерштевнем за балку, так что и ее пришлось выпилить более чем на половину. И все потому, что строителя не очень-то занимало, как выберется на вольный воздух его создание: созревшее всегда найдет путь к свету.

С самого начала строителя интересовало, какие суда предпочитают теперь иметь любители морских путешествий, какие яхты и лодки поступают в последнее время в городские яхт-клубы, и, по мере того как он узнавал об этом, менялось его понятие о мореходном и комфортабельном судне, разгорался аппетит, хотелось не отстать. Выросший за четыре года в сарае корабль казался прямо-таки гигантом и своим видом вселял в своего создателя некоторое сомнение, граничащее с восторгом и испугом: справится ли он с такой махиной на воде и что будет стоить его содержание? Напугал однажды и старого морского волка Андреича, живущего по соседству и забежавшего глянуть, как идут дела.

— Ни-и-чего бадью развалил! — проговорил он, когда вернулся в себя.

Такое же, примерно, впечатление произвел стоящий на стапеле корабль и на одного местного рыбака, зашедшего за стаканом:

— Для чего же тогда судоверфи? — сказал он, видимо, обидевшись за предприятие, на котором работал.

В ограде же, под открытым небом, новорожденный выглядел уже не таким внушительным, а выехав за ворота, на угор реки, сделался еще меньше, хотя длина его по-прежнему составляла около девяти метров, ширина же — два с половиной, а глубина трюма, от донницы до палубы посередке, значительно превышала метр. Впечатляющей оказалась и внутренность корабля: в корме палуба его резко вздымалась, и под уступом ее обнаруживалось довольно объемное помещение, называемое в старину казенкой. В казенке, имеющей треугольную форму из-за острой вельботной кормы, мастер, а теперь уже и владелец судна, устроил отдельную каюту для своей собственной персоны, назвав ее «капитанской». Если встать в углубление посреди судна, называемое несколько странно «кокпит», лицом к корме, открыть небольшой наклонный люк, как можно ниже пригнуться и заглянуть в него, то слева вдоль борта будет кровать-рундук, рассчитанный по длине на игрока сборной по баскетболу, напротив, сразу за платяным шкафом, небольшой откидной столик, под ним еще одно, но уже маломерное спальное место. В дальнем кормовом углу — книжные и другие шкафчики, украшенные резьбой по дереву, но главное, что тут же должно броситься в глаза заглядывающего, это железная печка справа от входного люка с повернутой в глубину казенки чугунной дверцей прекрасного художественного литья. Оно изображает пахаря с сохой.

Капитан страшно дорожит дверцей. Она была найдена им на Байкале лет десять назад в бухте, кишащей сотнями туристов, где только одно настоящее человеческое жилье — метеостанция, бывшее некогда домом смотрителя маяка. Дверца, должно быть, была завезена сюда в начале нашего столетия полковником Дриженко, составлявшим первую лоцию Священного моря и устанавливавшим на всей акватории его первую судоходную обстановку. Тогда в бухте поселился маячник, который должен был каждый день подыматься по шаткой лестнице на головокружительной высоты каменную колокольню, чтобы зажечь огонь, «осветивший будущее «Сибирского моря», как телеграфировал в ответ на донесение полковника иркутский губернатор. Для капитана эта дверца не только маячок, мигающий из прошлого, но и напоминание к какому роду-племени он принадлежит и что его путешествия не должны быть праздными.

Не праздным было уже самое строительство корабля, потому как «пахал» он все отпуска с рассвета до заката, прихватывая ночи, и главным образом, в одиночку — среди близких друзей не

оказалось мареманов, а старый морской волк Андреич не захотел входить в пай, оставаясь верным своему скромному, отделанному как игрушка «Снарку». Однако капитан не унывал: за матросами, помощниками и пассажирами, он надеялся, дело не станет, со временем подрастет сын, а жена привыкнет к его чудачеству и займет надлежащее ей место на камбузе.

Поверьте, одиночке действительно пришлось нелегко, может, чуть полегче, чем некоторым пройти вокруг света на готовом, оснащенном современным оборудованием паруснике. Пять тысяч заклепок поставил он своими руками там, где они дотягивались друг до друга, и неизвестно сколько еще там, где приходилось прибегать к помощи своей супруги или захожего человека. Пять тысяч! чтобы соединить алюминиевые листы, прежде чем получилось нечто похожее на корпус судна, не считая сотен и сотен шурупов, когда пошло в ход дерево.

Корабль строился без чертежей, без инженерных расчетов, полагаясь на интуицию, опыт и наблюдения, так сказать, народным методом, как искони ладили свои гребные и коноводные суда местные рыбаки и промышленники, наметив главные размерения, остальное же «как загнется», как подскажет чутье и сам материал. Конечно, алюминий — не доски, способные непринужденно ложиться в обшивку, и сам подход устаревший, теперь вовсе не применяющийся, но что взять с человека, который едва держит в памяти Архимедов закон и теорему Пифагора. Наверное, такой метод показался ему наиболее доступным.

Сначала любитель корабел положил на землю два параллельных между собой бруса в небольшом удалении друг от друга, на них бросил листы будущего днища, отчеркнул осевую линию, прошелся по ней взад-вперед, потоптался, попрыгал, кое-где ударил в нее березовой колотушкой, применяемой при колке дров: листы осели, края поднялись до нужной килеватости — не слишком большой и не очень маленькой. Затем склепал их между собой двойным плотным швом с матерчатой прокладкой из старых лозунгов на герметике, продававшихся в магазинах, выбросил с кормы и носа клинья согласно масштабной модели из картона, там и тут соединил парные края на железном угольнике, подняв оконечности будущего судна так, чтобы понравилось батюшке Байкалу. И только основал днище, как подкатила машина и из нее вышли школьный шофер с учителем труда — коллеги по работе и предложили меняться алюминиевыми листами. Николай, так звали корабела, заглянул в кузов — там лежал сильно покоробленный с огромной квадратной дырой на конце толстый дюралевый пласт. Он был не только толще, но и длиннее того, что уже стоял на месте. Появилась возможность упрочить носовую часть днища и увеличить длину судна, что строитель и не преминул сделать, согласясь на размен.

Дюраль был отожжен паяльной лампой и выправлен, а дыра выброшена заодно с клином. Но вместо носа он отдал корму, которая была покороче и потоньше, вследствие чего ватерлиния увеличилась еще на полметра, что и хотел будущий владелец, благо оконечности заложенного корабля походили друг на друга, как два конца одного кольца... Короче, там, где вчера был нос, стала корма, а где корма — нос. Совершенно удовлетворенный, благодаря судьбу, мастер высек маленьким топориком с помощью большого молотка две скуловые пластины, отрихтовал их под бананы и приклепал к днищу. Получилась этакая пирога, или наша долбленка — ветка без единого ребрышка. Лишь потом, когда она была выровнена, выглажена, киянками и подкладками, местами металл посажен, местами вытянут — особенно много пришлось повозиться с обводами кормы в районе дейдвуда, — когда все в этой зачиночной скорлупе окончательно выверилось портновским сантиметром, рейками, испещренными разными черточками и зарубками, бороздками от ногтей, когда закрепил он еще жиденькую, хлипкую, но уже симметричную форму намертво к лиственничному килевому брусу и столбам сарая, тогда только начал вставлять в нее ребра-упруги из железного и алюминиевого угола. Под железо непременно подкладывал ленты из прорезиненной ткани — не дай бог, заведется электрический кариес, и



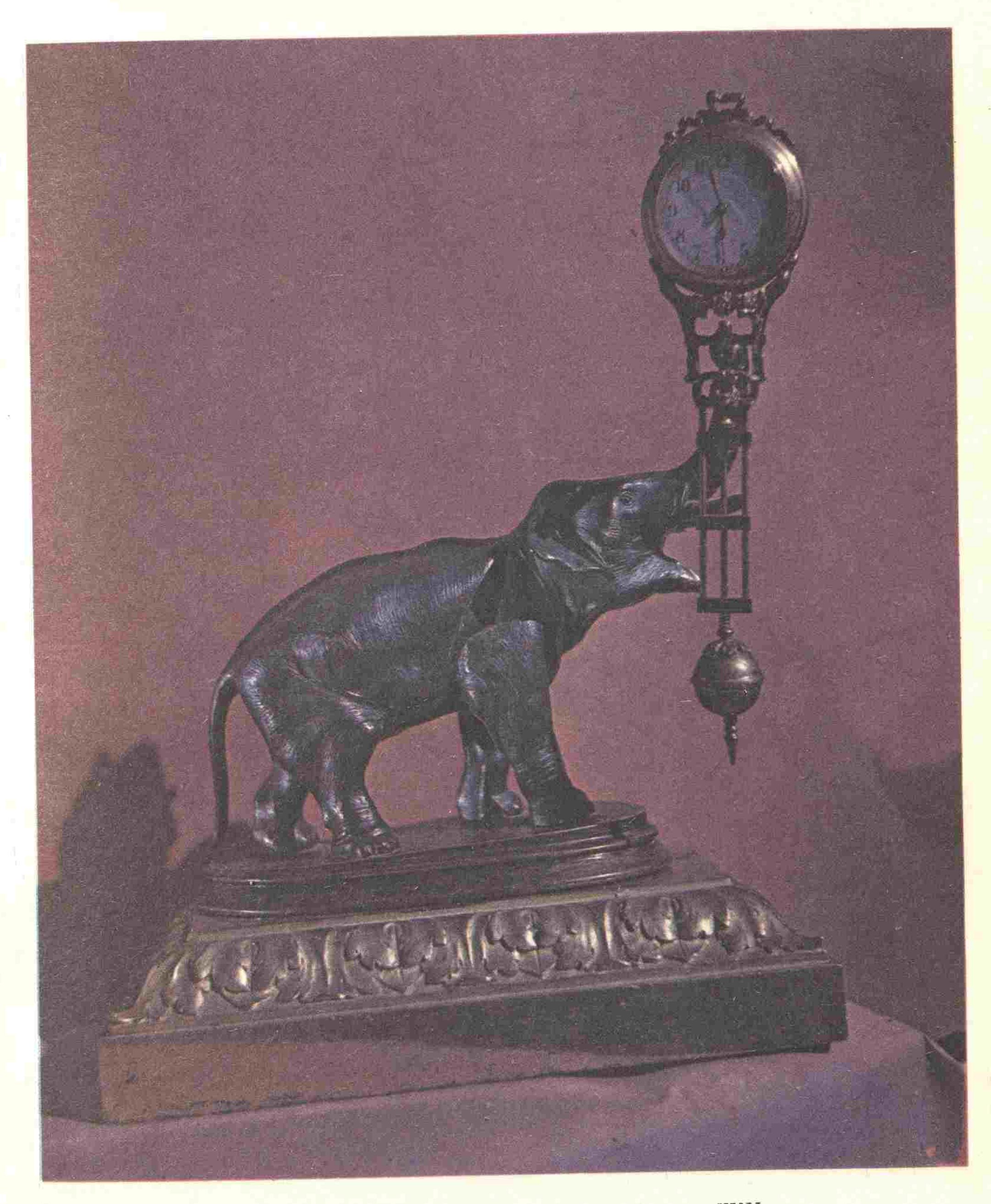
Часы каминные, конец XVIII в.



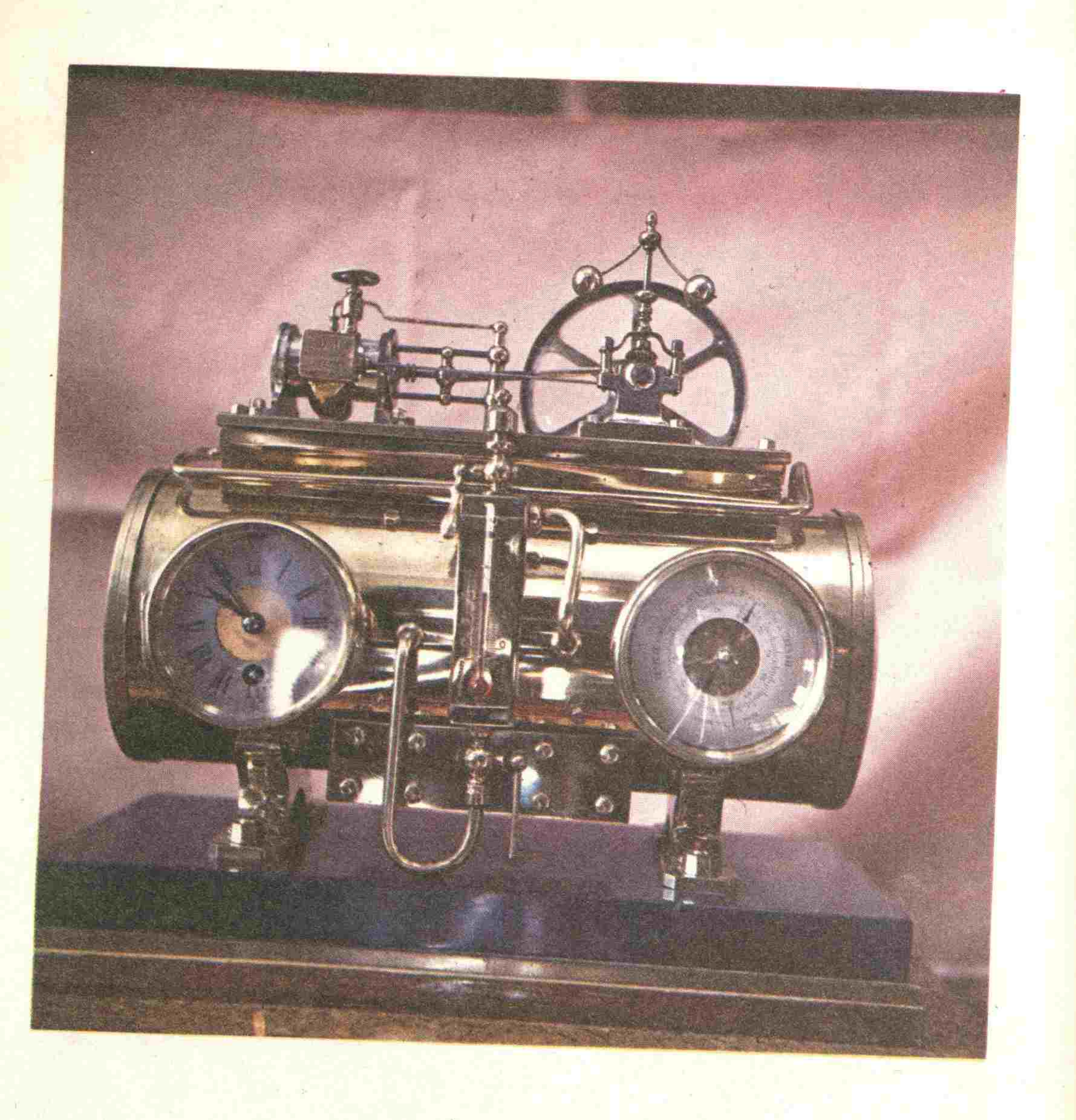




Часы каминные из позолоченного цветного сплава, циферблат и вставка в корпус из черного мрамора. Париж, середина XIX в.



Качающиеся часы на хоботе слона. Художественное литье, конец XVII— начало XVIII в.



Часы настольные из золоченой бронзы с изображением парового двигателя, XVIII в.



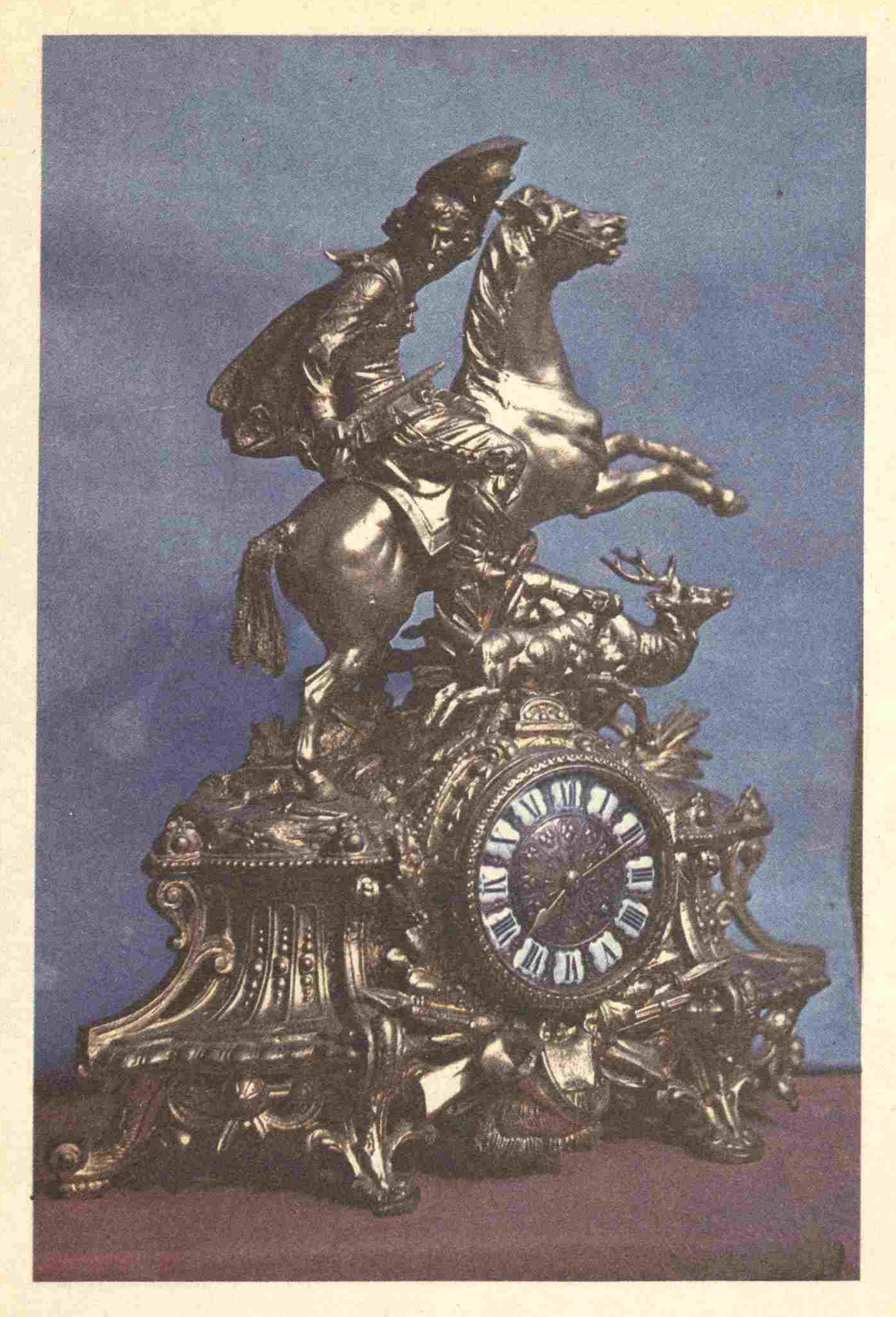
Часы настольные, изготовленные П. В. Курдюковым в 1972 г.



Часы настольные из золоченой бронзы в виде лиры. Германия, XX в.



Часы каминные из золоченой бронзы, конец XVIII в.



Часы каминные из чеканной бронзы. Художественное литье. Франция, конец XVIII в.

днище отвалится посреди Байкала.

Впрочем, кое-какие чертежи на клочках бумаги, на полях газет, на обрезках струганых досок Николай все же делал, но они скорее походили на рисунки, в которых больше предположений и эмоций, чем точных расчетов. В них он пытался сопоставить свое вновь зарождающееся детище со старым, пришедшим в негодность и теперь отданным в распоряжение уличных мальчишек, отделаться от его недостатков: рыскливости, валкости, чуткости к перемещению грузов, спартанских условий обитания, сохранив при этом все лучшее.

Вы помните, старый корабль был меньше нового и представлял собой обычную рыбацкую лодку, байкальский подъездок для ловли неводами омуля, сшитый внахлест из кедровых досок и переоборудованный в туристско-экспедиционное судно с подвесным шлюпочным мотором, мачтой однодеревкой и прямым вооружением из двух парусов: грота и марселя, подымаемых одним фалом. Для новичка то был прекрасный корабль! О, сколько радости подарил он мореплавателю! Сколько волнения испытал он при встрече с грозной стихией, а главное, сколько удивительного открыло ему за семь навигаций наше Священное море!

Вы спросите, почему тогда строитель отказался от такого благородного, живого и стойкого к ударам и сырости материала, как сибирский кедр, отдав предпочтение холодному, бездушному алюминию? Отвечу: потому, что сам задавал себе тот же вопрос. Во-первых, потому, что алюминий стал моден, он легок, требует меньше ухода, если применен в дело по всем правилам — не перегружен, не соприкасается с другими металлами, не попадает в раствор солей, щелочей и кислот, хорошо прогрунтован и прокрашен. Во-вторых, потому что даже у нас, в Сибири, в краю леса, непроходимой тайги, кое-где еще подступающей к человеческому жилью, где добывают огромное количество прекрасной деловой древесины, и где огромное же количество ее гниет почем зря, не так просто купить на лодку доски, тем более кедровые. Да что говорить о лодках — жителям на дом, а часто и на забор негде их взять, дров у нас не хватает, топить нечем, хоть замерзай!

Алюминий тоже дефицит, не купить и обрезков, хотя у нас не один гигант алюминиевого производства. В то же время он все больше и больше находит применение в строительстве и быту, часто встречается в кучах металлолома, на крышах частных домов, заброшенных теплушек и вагончиков, а также там, где ему совершенно нечего делать. Большую часть его, как в листах, так и в уголках, Николай нашел именно в таких местах. И надо было, видимо, родиться до того упрямым, до того настырным, настолько заболеть морем, чтобы иметь терпение очищать эти листы от грязи и сажи, править, отсоединять лишние детали, заделывать дыры и получать в конце концов то, из чего можно строить.

Но что же все-таки хотелось иметь завороженному морем человеку? Какой тип судна вынашивал он в душе, строил четыре года и что у него вышло — об этом мы еще не все сказали. В самом начале, когда Николай еще надеялся достать дерево, его воображение рисовало необычный корабль, корабль-историю, корабль-быль, корабль-сказку. Порывшись в архивах, переворошив кучу книг и журналов, будущий капитан и владелец выбрал коч. Да, именно коч — древнее поморское судно, на котором его далекие предки проникли в Сибирь и, пользуясь ее полноводными ветвистыми реками, дошли до самого окраинного «моря-окияна». Вообразивший себя кормщиком такого судна, их потомок был тогда помоложе и не умел управлять своей фантазией. Он вознамерился перебросить свой будущий корабль сухим путем в Лену через Ангарский и Илимский волоки, как это делали задолго до него землепроходцы. Где парусом, где веслами, где так, самосплавом, дойти до студеного моря и там повторить маршрут Семена Дежнева, обогнув мыс его имени. Ни больше ни меньше. Однако, этой затее по причине работы, семьи, пустого кармана и скоротечности времени не суждено было сбыться. Но образ древнего парусника прочно засел в его голове, продолжая жить и требовать своего воплощения. И когда вместо дерева в руках мечтателя оказался крылатый металл, он не мог от него избавиться, как ни ста-

рался. Да и как избавишься, если сами ветры Атлантики, иногда переваливающие к нам через Каменный Пояс, все чаще и чаще стали приносить вести о возрождении давно забытых кораблей. Не изменишь своей мечте и тогда, когда увидишь современные крейсерские яхты (суда типа «Марины», полутонники, четвертьтонники или совсем маленькие гоночные яхточки «лазеры»), построенные по последнему слову техники, я бы сказал, по последнему крику моды со ссылкой на некую гоночную формулу: снаряды бездушные, чисто спортивные, ничего живого, теплого, согретого дыханием мастера, художника своего дела. Стоит ли хоть на время покидать каменный дом, бетонный плитняк скверов, скучную перспективу улиц для того, чтобы прикоснуться к тому же самому.

Скорость? Согласен, нынешние спортивные парусники прекрасные ходоки, но скорость ради скорости, движение ради движения мало-помалу опустошают нашу душу, выветривают ее. В таких машинах (а эти суда есть не что иное, как машины) человек превращается в их придаток: гонку выигрывает не моряк, а техника, конструкторское бюро, завод. Нет, вы только поглядите на них: на линию борта без присущей всем кораблям седловатости, на эти горбатые палубы, зализанные «студебеккерские» рубки, массу деталей из нержавейки с острыми кромками, которые невозможно без опаски взять в руки, нелепо обрезанные зады, а не корабельные кормы, металлические мачты, что тебе трубы кочегарок, пластмассовые, выклеенные в корпусах ящики для рулевых и матросов, сделанные не для людей, а для овощей и фруктов или шампанского со льдом — тара, одним словом, напоминающая складское помещение, сарай, топливную цистерну, в лучшем случае, трамвай. Простите, если кого-нибудь оскорбил, но так уж мой глаз воспринимает современные корпуса яхт, паруса же их хороши, ничего не скажешь.

Так вот, задумавшего коч не смущало несоответствие материала и формы, даже напротив, его заинтересовала задача соединить несоединимое, век семнадцатый с веком двадцатым, мечту с возможностью. Может, они сошлись не совсем добровольно, несколько противореча природе, но в самый последний момент строителя осенила мысль обмануть взыскательного критика, старого морского волка Андреича, а вместе с ним и всех остальных, включая самого себя, вымазав свое новоиспеченное детище кузбасским лаком. Коч местами чернее черной ночи, местами рыжее бороды кормщика обрел почти ничем неотличимый от древнего пращура вид. Краем седловатого борта по всей длине судна была пущена кедровая доска шириной в ладонь, по ней — узенький лиственничный буртик, все это на три раза пропитано горячей олифой и покрыто лаком. Такой же каемкой был укреплен, а заодно и украшен излом палубы на казенке и косящатые оконца каюты. Натуральное дерево еще больше приблизило корабль к старине, подчеркнуло необычность его формы, оживило ее и заодно отвело придирчивый взгляд критика от сотен заклепочных головок, усеявших борт. Результат получился более чем потрясающий: все непосвященные, обойдя новостроенное судно вокруг, обшарив его глазами, оставались уверенными, что это деревянное судно, переделанное из старой дори.

Сложнее дело обстояло с передней надстройкой. Следуя до конца прототипу, который не имел вовсе никакой надстройки, кроме кормового возвышения, строитель несомненно достиг бы неподдельного чудного вида, так очаровывающего любителей старины, но его коч проиграл бы в объеме для внутренних помещений. Этот узел явился для Николая настоящим камнем преткновения, и если проектирование, рисование и прикидка в уме корабля в целом, а корпуса в частности, порой доставляли ему истинное наслаждение, то передняя надстройка чуть не довела его до сумасшествия.

Что он только не придумывал, как не моделировал, манипулируя палочками, реечками, брусками и листами фанеры! То ставил сарайчик, то палатку, то балаганчик, то карточный домик, наконец, собачью конуру — напрасно: любая из этих конструкций портила общий самобытный вид, и от коча не оставалось и следа. Сколько было потрачено понапрасну драгоценного времени на одну только носовую надстройку! Сколько от-

пято дней от полнокровной цветущей жизни человека, вынужденного ночами сидеть перед листом бумаги с карандашом в негнущихся от работы руках, уставя невидящий взгляд в мутные потоки реки забвения и самонадеянности, пытаясь отыскать хоть слабый проблеск выхода из создавшегося положения. «Эх, зачем я отпилил концы бортовых ветвей шпангоутов, перед тем как стелить палубу? — вздыхал в минуты запоздалого просветления строитель. — Мне так недостает тех двух четвертей глубины трюма!» Ему хотелось крикнуть на весь свет: «Друзья самодельщики! Коллеги по воссозданию кораблей-былей, кораблей-сказок, кораблей-историй, не торопитесь с выбором размеров своего детища!» Известно, что беда эта распространена не только среди корабелов-самодельщиков, но и строителей океанских лайнеров: частенько им недостает какой-нибудь величины, бывает, суда разрезаются пополам, раздвигаются и в середку вставляется недостача. «Хм», — усмехался не так давно строитель коча, видя, как его друг — старый морской волк Андреич, вернувшись из путешествия по Байкалу, наращивал борта, подымал и усиливал ветровое стекло, прибавляя транец, и совершенствовал тент своей посудины. Удивительный вид и свойства обрело его суденышко от этих добавок: это был уже совсем другой корабль, похожий на гигантскую туфлю с опушнями, оборками, запятниками и остреньким воробьиным носом, который отстал почему-то в росте, отказался всплывать на волну, протыкая ее насквозь и с готовностью принимая на себя.

Но что же с кочем? Не сделался ли он очередной утопией, прекрасной, но несбыточной мечтой? Ведь никто из нас толком не знает, каким он был в деталях, нигде не найдено его точных изображений — разве что на обломке бортовой доски с ледовитого моря, но то лишь схема неумелой руки, как и наскальный рисунок с верховьев Лены, сделанный три века назад тунгусами. Впрочем, приблизительную реконструкцию коча можно найти в книге «Юные корабелы», в открытках, вскользь отобразивших историю отечественного судостроения, в журнале «Моделист-конструктор» и монографии Магидовича о великих географических открытиях. В последней дана старинная гравюра сибирских судов семнадцатого века. От нее-то как раз и отталкивался мастер. Корабли эти были немалыми и могли обходиться без носовой надстройки: команда и грузы размещались непосредственно под палубой. Зато какая у них была огорожа вдоль борта и казенки, какие перила — чудо! Таким образом строитель решил использовать эти перила в будущем. А пока передняя надстройка приняла вид шатра — будто от основания мачты натянуто полотнище, прикрывающее трюм от дождя и брызг.

Итак, оказавшись под открытым отцветающим августовским небом тысяча девятьсот восьмидесятого года, новостроенное судно почти забытых очертаний быстро, не по дням, а по часам, доросло до клотика, сделалось стройным и подтянутым: на нем была установлена временная мачта, изготовленная из выловленной в прибое еловой жерди, с вантами и штагами из настоящего просмоленного растительного троса-геркулеса, заимствованного от якорных затяжек ставных каспийских неводов, некогда внедренных в байкальские промыслы и опустошавших бесценные омулевые косяки. Этот такелаж обтянут с помощью веревочных талрепов с юферсами, похожими на деревянные головки языческих божков о трех дырках вместо глаз и рта. К мачте на вертлюге согласно нижнему подзору паруса от швербота класса «М» прилажен гик, сам парус вверху обрезан, чтобы вид его соответствовал облику коча, а центр парусности понизился бы. К обрезу его сделана еще одна райма покороче и с усами, охватывающими мачту, чтобы подыматься вместе с парусом. Через деревянные шкивы проведены бегучие снасти: дроги для подъема грота и стакселя, вожжи для поворота всей парусной упряжи и кое-что еще, но самым главным движителем станет огромный прямой парус, перешитый из старого списанного кливера достославного «Крузенштерна», бог весть как попавшего в наш далекий от океанов край.

На корму на железных петлях и крючьях навешан руль-сопец, большой, прочный, из лиственничных брусьев, стянутых болтами и обработанных в профиль, тоже пропитанных горячей олифой

и покрытых лаком. К его головке шарнирно присоединен деревянный рычаг-румпель, с помощью которого можно управлять лодкой, как сидя на крыше казенки, поджав под себя ноги или свесив их в открытый люк, так и стоя.

Пожалуй, все, кораблем управлять можно, пора начинать спуск. Тем более, гости в сборе, сам виновник торжества уже за воротами, его гордо вскинутый нос, пока еще не украшенный резной фигурой, в нетерпении замер над просторами ангарских вод.

Ворота еще не запахнуты, и у строителя да, наверное, и у всех присутствующих эта картина вызывает чувство какого-то откровения, впечатление престольного праздника или свадьбы. Да, это так: для тех, кто собственными руками, преодолевая трудности, хоть что-нибудь создал, совершил или смастерил, такие мгновения есть не что иное, как великий праздник, редкий, может, единственный из всех общих, оправдывающий честь и хвалу самому себе — куда важнее и радостней дня рождения или юбилея мастера...

Кажется, сейчас поедем: тракторист ждет не дождется сигнала, ему уже невтерпеж скорее покончить с этим неурочным для него делом. Ребятня, до сей поры тихо и робко, с завистью и воображением бродившая вокруг неожиданно появившегося среди улицы корабля, пришла в движение, начала путаться под ногами взрослых, скакать и прыгать, карабкаться на борт, чтобы хоть одним глазом проникнуть в сумрачные и таинственные трюмы, хоть одной ногой ступить на покатую палубу и забыть о каждодневных домашних заданиях, хоть одной рукой дотянуться до штурвала и хоть на мгновение повернуть свою жизнь к неведомым берегам. Штурвал, он установлен посередке судна, между казенкой и кают-компанией (так назвал капитан помещение под шатром), — это настоящее рулевое колесо с рогами и блестящими медными шинами, связанное с румпелем так, чтобы его можно было мгновенно отсоединить в аварийной ситуации и управлять кораблем по-старинке. В обычное же время оно даст возможность рулевому укрыться в заветрии, общаясь с остальными членами экипажа, будь они на носу корабля или корме... Одну минуту!

Зачем-то брошены к подножью мачты паруса, один даже пристегнут к штагу. Наверное, пора. Но нет ведь одной очень важной детали, без которой не бывает ни одного настоящего спуска — имени, названия корабля. Новорожденный еще не крещен, очевидно, это произойдет через несколько минут. Но имя, название? Оно должно быть давно готово...

Обычно его придумывают женщины. Не знаю, почему так заведено. Наверное, женщина, дающая жизнь моряку, хранительница его домашнего очага, тепла и уюта, когда он в плавании, давая название кораблю, как бы принимает его в свою семью, под покровительство своего очага, становится тем необходимым звеном между кораблем и пристанью, морем и сушей, опасностью и исходом, каким является святой между людьми и небом или врач между жизнью и смертью. Со времени наименования судна женщина становится его крестной матерью, а он ее крестником, что, несомненно, придает уверенности как капитану, так и всей команде, лишний раз отводя их от опасных рифов.

Я знаю, у владельца коча на всякий случай припасено несколько названий, однако, ни одно из них не удовлетворяет его, не отражает стать и душу его создания. Я не оговорился, именно душу, потому что о кораблях можно говорить как о живых существах. Корабль ведь не машина, паруса и снасти его не мотор, даже не изделия или вещи, а что-то другое, особенно когда они наполнены ветром, гудят и стонут, скрипят и хлопают, дрожат, трепещут, издают множество разнообразных звуков.

Взойдите, если представится возможность, на палубу настоящего парусника, и вы окажетесь в плену у невиданных размеров паука, способного оплести корпус и мачты изысканной паутиной. И как оплести — комар носа не подточит! Один мой знакомый, побывавший на учебном барке, назвал его стоячий такелаж ливнем, бегучий же—молниями, паруса — тучами, а самих моряков уподобил ангелам небесным.

Если приглядеться к снастям поближе, то в узлах, соединяющих концы тро-

сов и канатов, в их петлях и сростках, во всех этих огонах, люверсах и кренгельсах, марках и бензелях, шкентелях с мусингами, веревочных лестницах, матах, парусиновых чехлах и ведрах, плавучих якорях и тентах можно узнать переплетения корневищ деревьев и лиан, художественную вязь древнейшего письма, но скорее — узорочье каких-то таинственных знаков, не поддающихся прочтению непосвященных.

У моряков, кроме специального жаргона, существует другой язык — язык узлов, позволяющий им говорить с кораблем, с самим ветром, завораживать море, держаться в согласии со стихиями. «На морских узлах — а их насчитываются сотни — держится мир», — сказал бы философствующий моряк. Но морские узлы — это всего лишь восьмая доля старейшего из рукоделий, возникшего на заре цивилизации, быть может, в эпоху матриархата, когда женщины снаряжали мужчин на промысел, готовили им снасти, сидя у незатухающего костра, подражая в работе паукам, птицам, пчелам и другим такелажникам, ткачам и вязальщикам фауны. Недаром некоторые морские узлы, способы вязки судовых матов и кранцев так похожи на плетение бабьей косы. Не женщина ли явилась первой создательницей лодок? У нее было время, были условия и пристальный взгляд на природу, чтобы сподобиться и сплести огромную корзину, проконопатить ее со смолой и посадить в нее вконец обленившегося мужа, отправив его по ветру с глаз долой. Велико же было ее изумление, когда через несколько дней увидела она возвращающегося супруга в лодке с парусом из кожи дикого животного и полной корзиной добычи. Может, так было с персидскими лодками «гуффами», очень напоминающими огромные корзины или птичьи гнезда. Может, первыми корабелами Египта были египтянки, связавшие знаменитые папирусные лодки, а кожаные каяки Севера сшили эскимоски, берестянки Сибири — тунгуски. Они шили, вязали, плели и опоясывали их, пользуясь теми же стежками, теми же узелками и петельками, что и парусный мастер, колдун такелажник нашего времени.

Вполне вероятно, что привилегия женщин в наименовании кораблей — наследие тех далеких времен.

Однако в наш технический век он больше всего нуждается в оправдании и возрождении, поэтому позвольте в оставшееся до спуска время добавить немного к тому, что уже было о нем сказано, потому как парусник — это...

Трудно найти краткие слова, чтобы выразить, что такое парусник, и не впасть в краснобайство. Мне кажется, парусный корабль — это сама природа. Вспомните, сколько в растительном мире парусников, несущихся по ветру навстречу жизни. Даже крохотному березовому семечку дано два прозрачных паруска-крылышка, способных унести его за сотни, а может, тысячи метров в еще необжитые, таинственные страны.

Для кого как: для одних корабль — это философия, с помощью которой они познают смысл жизни, ее высшую премудрость; для других — профессия, дающая хлеб насущный и трудный; для третьих — отдых, успокоение или, наоборот, борьба, испытание себя, романтические приключения. А может, все яхты, рыбацкие шхуны и фелюги, учебные и исследовательские суда явились посредниками между человеком и стихией? Они появились для того, чтобы понять друг друга, проникнуться уважением друг к другу, стать, наконец, одним из самых надежных и неисчерпаемых резервов движения.

Парусник неоднозначен, он впечатляет кого угодно, и вряд ли найдется хоть один человек, который остался бы равнодушным, увидев на горизонте паруса, наполненные ветром.

Ведь парусник — это прирученный ветер, это сохраненная природа. Но не пора ли начать спуск, мы и так задержались. Все, кого ждал капитан, в чей приезд верил, в сборе. Нет только его братьев, которые далеко живут, да и увлечение младшего считают пустой тратой времени: они землепашцы, унаследовавшие любовь к земле от матери, в то время как капитан пошел по отцовской мастеровой линии. К мореплаванию же его потянул, видно, какой-то более древний, наследственный дух, может быть, землепроходческий.

Отношение родственников к занятию

младшего во многом надо признать справедливым, особенно если учесть результаты той и другой стороны. «Вот кабы к этому сроку не выловили, не вытравили из Ангары и Байкала рыбу, не порубили кедр, не обломали ягодники, не обокрали в кормах омуля, не преградили ему пути к нерестилищам и не колебали уровень воды на его пастбищах с помощью ГЭС, — жалеет капитан, — результаты моряцкой профессии не так бы разнились с земледельческими». В это можно поверить, капитан не так ленив и поймать хариуса на уху для себя или своих гостей мог бы в любое время — теперь же кругом запрет. Отсюда нетрудно догадаться, что сегодняшнее торжество, к сожалению, пройдет без традиционной шарбы, даже без соленой закуски, уж я молчу о рыбке с душком — любимом лакомстве сибиряков, а о расколотке — свежемороженой, разбитой обухом топора на пороге избы — не стоит и заикаться.

Гостей не так много. Андрей, художник из города, низенький, неторопливый, с бородкой клинышком, похожий на древнерусского иконописца. Его жена — тоже невысокая, еще более степенная женщина исключительного обаяния — реставратор старых картин. И еще человека два-три — друзья Николая.

Старый морской волк, взыскательный критик Андреич не пришел и не придет: видимо, он с самого начала не верил в затею с кочем, отказывал Николаю в способности когда-нибудь его вообще закончить. Ему, конечно, будет неприятно видеть свои несбывшиеся надежды, когда корабль уже готов, вылупился из гнезда-сарая, — такой человек, капитан много о нем рассказывал... простите.

Тракторист, кажется, забрался в трактор, а капитан зачем-то подымает корпус, небольшой стаксель от какой-то гоночной яхты с заводским знаком в углу. У него впервые появились настоящие паруса. Много надежд возлагает на них моряк. Я помню эту историю с парусами: они достались ему совершенно случайно, когда он познакомился с молодыми, подающими надежды, художниками. В ту пору молодых признали, дали им мастерские и сразу на них обрушилось столько забот, что корабль свой они забросили, а паруса его чуть не съели мыши. Вот они и подарили этому чудаку, который сейчас на санях, еще не подъехав к воде, вздернул один из них...

Смотрите, капитан берет какую-то другую снасть, разноцветную, как лоскутное одеяло, запутался в ней, но быстро отыскав конец, привязал к дрогу, потянул — и над черным бокастым кораблем в синем небе затрепетали флажки, гирлянды из разноцветных флажков! Теперь нам понятно, зачем он ходил в пошивочную, — за лоскутками.

Ребятня перестала беситься, прыгать и скакать на одной ножке, отлипла от бортов и задрала веснушчатые носы кверху. Подняли к небу оживившиеся лица и гости. Сейчас двинемся. Жена капитана уже закрыла ворота. Надо отдать ей должное: это она переносила целых четыре года почти полную отрешенность супруга от всех домашних дел.

К празднично украшенному кораблю подбегает маленький мальчик — сын моряка, тянется ручонками к отцу. Отец подымает его на борт, подбрасывает к самому топу мачты, дает ухватиться за ванты, потрясти их и, задохнувшегося от счастья и высоты, передает в руки матери. Кажется, все, жаль только, что корабль будет спущен безымянным. Неужели его владелец и капитан не мог отобрать более-менее подходящее и, как говорится, начертать его там, где предписано навигационной инспекцией. Помнится, жена Андрея, уважаемая Инна Ивановна, обещала придумать и привезти название, может, она уже сообщила капитану тайком, тогда почему он не возьмет кисть и не намалюет его на вороном борту коча?.. Ага, супруги шагнули к лодке, подзывают к себе ее владельца. Тот склоняется к ним. с палубы, принимает из рук женщины какой-то материал, благодарит ее, разворачивает, и мы видим полутороаршинной величины квадрат с голубыми пересекающимися по диагонали полосами. В середине, на месте пересечения этих полос, что-то похожее на старинный герб, а на гербе — изображение какого-то зверя с добычей в зубах. Это ж бабр! бабр с соболем — символ нашего города, которому исполнилось триста лет. Прекрасный подарок! Вы знаете, что за зверь бабр?

Нет?.. Это наш легендарный, мифический, единственный в своем роде зверь, о котором даже историки ничего толком не знают: одни говорят: тигр, водившийся некогда в наших краях и не выдержавший охотничьего напора человека; другие утверждают — снежный барс; третьи склонны считать его обыкновенной рысью. Есть даже легенда о том, как при сочинении герба какой-то чиновник Сибирского приказа перепутал буквы и вместо «о» написал «а». Если так, то надо полагать, перепутал что-то и художник, потому что на бобра наш зверь не похож: пушистый длинный хвост, мощные когти, большая тяжелая голова — не слишком ли много расхождений? Однако как бы там ни было, герб есть, существует уже триста лет, мы привыкли к нему, гордимся им и менять его не собираемся.

— Андреевский стяг, — говорит художник смеясь.— Это полосы придумал я, а бабра — моя ненаглядная. Мне кажется, лучшего названия твоему кочу не сыскать.

— Я тоже так думаю, — смущенно произнесла Инна Ивановна. — Мы посоветовались и вот решили увековечить его на флаге. Как тебе, капитан?

— Дорогие, да это как раз то, над чем я ломал голову больше, чем над постройкой самого корабля! Я с удовольствием принимаю его! — одним духом выпаливает капитан. — Спасибо, — кланяется он с палубы, после чего вздымает вымпел на ноке гафельной реи и совсем не по-капитански командует, махнув трактористу:

— Поехали!

Так, с поднятым парусом, наполненным свежим байкальским ветром, украшенный флажками, с развевающимся «андреевским стягом» новостроенный корабль трогается с места и сопровождаемый гостями и ребятней выруливает на дорогу, ведущую под угор. Николай идет рядом, сани скрежещут о камни, оставляя в супеси два гладких желоба, от которых местами отражается солнце и идет пар. «Тяжелый!» — удивляется мастер и вспоминает, как когда-то в юности вот так ходил рядом с возом сена, правил лошадью, запряженной в телегу с мешками хлеба, везя его с мельницы, и ему становится хорошо и тут же от чего-то неловко. «Тем ли я занимаюсь, тем ли живу, не слишком ли отшатнулся от дел насущных?» — приходит ему на ум, а с соседней улицы к процессии присоединяется кое-кто из сельчан: стайка девочек-подростков, трое парней, мужик на костылях, сосед Гоша Жуков, помогавший Николаю клепать, дед — девяносто лет вместе со своими козами и совсем еще юная мать с младенцем на руках.

Скоро дорога пошла под уклон, тракторист сбавляет скорость, капитан же, не отрываясь, следит за тросом, которым, лодка пристрахована к саням, связана с ними, как пуповиной, оглядывает ее всю пристальным взглядом. «Пять тысяч заклепок! Столько отверстий пришлось просверлить в обшивке и вновь заделать, не пропустил ли где? — потечет, затонет... Надо будет сразу осмотреть все изнутри. Хорошо бы огруз по скуловому шву — это полметра, да еще плавники добавят, может, и станется в самую пору».

Стальные плавники и рулевое перо ниже ватерлинии, выкрашенные киноварью, они напоминают рыбьи, впрочем, и весь корабль напоминает огромную черную рыбину. Большая Речка еще на забыла своих деревянных рыб: здесь лет двадцать назад была судоверфь — адмиралтейство, как говаривали в старину, строившее рыболовные боты для Байкала. Но прекратились путины, и производство пришлось закрыть.

Берег приближается, остались считанные метры, а идущий рядом взлохмаченный, неприбранный человек в резиновых ботфортах и штормовке, испачканной краской, заметно похудевший в последний год, все задает себе вопросы: как поведет себя на воде творение его рук? Все ли будет ладно? Как устойчивость, ходкость, поворотливость? Встанет ли на ровный киль или даст крен? Справится ли с крутым байкальским взводнем? А прочность, обитаемость и многие другие вопросы вновь и вновь проносятся в его сознании, но уже без всякого порядка и ответа. «Как уж загнулось, так пусть и будет», — решает перед самой водой капитан. Тракторист заезжает в реку и останавливается. Нос кораб-

ля завис над заплеском. Подходят гости и любопытные. Появляется бутылка шампанского в ведре. Будущая крестная мать берет ее и торжественно подает капитану. Тот, волнуясь и что-то соображая, подержал ее в руках и вернул назад. Крестная приближается к волнорезу коча и, тоже волнуясь, произносит:

— Ну что, с сего часу нарекаем тебя Бабром, — обращается она к кораблю,— ходить тебе по морям, по волнам не переходить, плавать не переплавать и никогда не забывать возвращаться к родному берегу.

— Три фута под килем!— раздается вдруг чей-то голос из толпы.

— Семь футов! — поправляют его.

Бутылка бьется о нос, шампанское взрывается, обрызгивая корабль и гостей.

Команда: «Пошел!» Трактор двигается с места, погружаясь все больше и больше в воду. Вот уже и сани вошли в нее, уже коснулся воды и Бабров нос — все замерли. Капитан вытирает со лба пот. Вот трактор заехал в реку по ступицы задних колес, кажется, сейчас всплывет или заглохнет, но продолжает погружаться, увлекая за собой ставшего еще послушней Бабра. Вот и саней не стало видно, будто корабль уже на плаву, за ним и след образовался. В груди Николая все затаилось, перехватило, будто он сам залез в ледянящую воду, но он видит, до всплытия еще далеко, намеченная им ватерлиния высока. У трактора же скрылись передние колеса, вода омывает картер двигателя, вот-вот доберется до кабины и неожиданно из-под капота начинает бить фонтан!.. Брызги, искрясь на солнце, веером выметывает в стороны, в них вспыхивает радуга, и Бабр плывет сам, догоняя повернувший к берегу буксир.

«Надо же! — снова дивится и в то же время торжествует капитан, — точно по шву осел, огруз, как я и думал. Теперь скорее к причалу, осмотреть, нет ли где течи». Он выбирает слабину веревки, заранее привязанной к носовому рыму, ведет послушный и легкий на воде корабль к себе. Трактор рывками выдергивает из-под него сани и выезжает на берег, вздрагивая и подпрыгивая при пробуксовке в речной гальке, отряхивая с себя воду, словно собака после купания.

И только новокрещенный корабль коснулся килем грунта у самого берега, капитан, строитель, владелец его бросился ему навстречу, глаза увлажнились, он вмиг оказался на борту, откинул крышку переднего люка, нырнул в него, не помня себя, в каком-то ликующем состоянии прошмыгнул в кают-компанию, распахнул ее двери, на секунду показался у штурвала, скрылся в казенке и вновь появился уже из кормового люка, возле румпеля.

— Ура! — крикнул он, едва заметно коснувшись тыльной стороной ладони глаз.

Валерий Ефимович Нефедьев родился в дер. Новая Ида Иркутской обл. в 1942 г. Окончил художественно-графический факультет Красноярского пединститута. Служил в армии. 11лет проработал в школе учителем черчения и рисования. Участвовал в этнографических и археологических экспедициях.

Публиковаться начал с 1977 г. в периодической печати, альманахе «Сибирь».

В 1987 г. вышла первая книга «Посольская сторона».



М. С. Гезунгейт
А. С. Турик

МУЗЫКА ДУШИ НАРОДНОЙ

ОЧЕРК ИЗ ИСТОРИИ ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

«Русская песня — русская история»,— заметил А. М. Горький. И не только история быта и внутреннего мира русских людей, но и история Отечества в самом широком смысле. Состояние народной песенной и музыкальной культуры и отношение к ней общества — вернейший показатель нравственного состояния широких народных слоев и наполненности его национального самосознания, ибо народная песня — зеркало души народной.

Музыкальное и песенное наследие русского народа отличается не только громадным разнообразием тем и настроений, но и характерными музыкальными особенностями. И это замечательное наследие представляет собой непочатый край для самого разнообразного творчества. И кто же может лучше донести до слушателя простую русскую народную песню, нежели певец в сопровождении русских народных инструментов?

Русские народные инструменты: домры, гусли, свирели, брёлки, рожки ведут свое начало из глубин истории. Гусли в руках древнего сказителя Бояна упоминаются еще в «Слове о полку Игореве». В XУII в. при дворцовой потешной палате царя Михаила Федоровича состояли среди других музыкантов и домрачеи. Деньги на струны они получали из царской казны. В дворцовых записях русских царей того времени говорится о домришке — маленькой домре и о большой басистой домре. Уже в те времена были различные по величине и высоте звучания инструменты, из которых составлялись ансамбли. На рисунке немецкого путешественника Олеария, приезжавшего в Россию в середине XУII в. изображены скоморохи, в руках у которых домры, похожие на современные.

Искусство скоморохов было весьма популярно в народе. Они пели шуточные и сатирические песни, в которых высмеивались власти и духовенство. Церковные власти вели постоянную борьбу с подобными представлениями народных артистов, бродивших небольшими труппами по городам и селам Руси, и они добились указа царя Алексея Михайловича о запрещении всяких выступлений скоморохов и иных артистов из народа. Была запрещена игра на домрах, свирелях, гуслях. «Где объявятся домры, и сурны, и гудки, и гусли — ломать их и жечь». Царские стрельцы разгоняли актерские труппы, уничтожали народные инструменты.

С конца XVII в. домры стали редким явлением, их можно было встретить только в глуши. Скоморохи вынуждены были срочно менять свое место жительства, искать новые занятия. Многие из них переселялись в северные районы России или в Сибирь, где представления скоморохов с восторгом были встречены народом. Они проходили по преимуществу в большие праздники, и простолюдины, направляясь на эти представления, не посещали храмы.

В 1649 г. тобольскому воеводе была направлена царская грамота со строгим запре-

том выступлений скоморохов. «Гудебные сосуды вынимать и, изломав те бесовские игры, велеть жечь, а которые от того богомерзкого дела не отстанут... Ты б тех людей велел бить батоги...»

Настойчивость церковников в преследовании скоморошества естественно не могла остаться безрезультатной. Скоморохи с их домрами были изгнаны из центральных губерний России, но уничтожить домру церковники не сумели. Если домра попала в опалу и не могла далее существовать, то нужно было сделать другой инструмент, внешне не похожий на домру. И народ такой инструмент придумал. Музыканты-самоучки сделали новый инструмент с треугольным корпусом и с двумя струнами, на которых играли, бряцая пальцами. Это получилось ново, оригинально и вполне соответствовало характеру русской народной песни. Инструмент словно разговаривал, балакал, балагурил. На балалайке исполнялись задушевные мелодии и подголоски. Так на рубеже ХУII-ХУIII вв. в России появилась балалайка.

Однако балалайка не заняла в России такого привилегированного положения, какого была удостоена изгнанная домра. В конце ХУII столетия в Россию стала проникать западно-европейская культура. Русские цари приглашают из-за границы актеров и музыкантов. На официальной сцене начинают исполняться симфонические произведения, повсюду вводятся оркестры духовой музыки. Балалайка уходит в народ и становится любимым инструментом простого русского люда. В XIX столетии балалайка постепенно вытесняется из городского домашнего музицирования, а после распространения гитары в деревне (через помещичье-усадебную культуру) и подлаживания ее под русскую песню и романс начинается процесс постепенного вытеснения балалайки и из народного музыкального быта.

Непоправимый удар балалайке был нанесен голосистой «тальянкой», появившейся в 50-е годы XIX в. Появившись в Тульской губернии, она через 5—6 лет распространилась почти по всей России, став как бы законодательницей моды в русской деревне. Отмечая это явление, В. И. Ленин писал: «Развитие гармонного производства интересно так же, как процесс вытеснения первобытных народных инструментов и процесс создания широкого национального рынка: без такого рынка не могло быть детального разделения труда, а без разделения труда не достигалась бы дешевизна продуктов. Благодаря дешевизне, гармонии почти повсеместно вытеснили первобытный музыкальный инструмент... балалайку».

Правда, иногда интерес появлялся и у людей светского круга. Первым российским балалаечником был композитор и выдающийся скрипач И. Е. Хандошкин. Его игра приводила слушателей в неописуемый восторг. Славились игрой на этом инструменте придворный скрипач Яблочкин, москвич Радивилов, орловский помещик Паскин, бас петербургской оперы Лавров и др. Но долгие десятилетия эти прекрасные инструменты не имели признания и должной оценки общественности. И только Василий Васильевич Андреев (1861—1918), создавший в 1888 г. первый оркестр русских народных инструментов, сумел снискать народной музыке всемирную известность и славу.

Великие русские композиторы дали высокую оценку деятельности В. В. Андреева. П. И. Чайковский писал: «Какая прелесть эти балалайки, какой поразительный эффект могут они дать в оркестре; по тембру это незаменимые инструменты». А. Г. Рубинштейн, обращаясь к В. В. Андрееву, сказал: «Вы внесли новый элемент в музыку, Вам честь и хвала». С восторгом отзывались об оркестре великие русские писатели Л. Н. Толстой, А. М. Горький и др. Л. Н. Толстой писал В. В. Андрееву: «Думаю, что Вы делаете очень хорошее дело, стараясь удержать в народе его старинные прелестные песни. Думаю, что путь, избранный Вами, приведет Вас к цели, и потому желаю успеха Вашему делу». Рождение оркестра приветствовали Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. С. Аренский, С. М. Танеев, Э. Ф. Направник, Ц. И. Кюи, Артур Никиш, Леонковалло, Маснэ.

Концерты оркестра Андреева имели огромный успех. По всей России создавались многочисленные кружки народных инстру-

ментов. Возникла новая отрасль промышленности — массовое производство щипковых инструментов. В 1908 г. в России было изготовлено 200 тысяч домр и балалаек, а в 1913 г. только шесть фабрик продали 148 тысяч инструментов.

Концертные поездки оркестра Андреева за границу превратились в триумфальное шествие русского народного искусства. Почти все европейские государства награждают Андреева орденами, французская Академия изящных искусств избирает его своим почетным членом, а в Англии вводится обучение игре на балалайке. В 1910 г. ученик Андреева Б. С. Трояновский создает в Лондоне английский Королевский оркестр балалаек, существующий до нашего времени. Таково было воздействие русской национальной музыки на Запад.

Этот успех не был случайным. Ни Европа ни Америка не в состоянии были противопоставить ничего равного Андреевскому оркестру — выдающемуся явлению русской музыкальной культуры.

Сам В. В. Андреев так определял значение оркестра: «Великорусский оркестр является национальным художественным созданием, ничего не позаимствовавшим с Запада. Он представляет собою дело, выросшее на русской почве, созданное русским трудом и опирающееся на музыкальные инструменты русского народа». Отвечая на многочисленные поздравления и приветствия, В. В. Андреев писал: «Достиг я своей цели путем тяжелого, непрерывного труда, даже страданий, но как бы ни были велики страдания, перенесенные ради блага и процветания Родины, все они искупаются счастьем ей служить, и я испытал это счастье: оно так полно и велико, что за него можно, не задумываясь, отдать всего себя, без остатка».

Замечательному русскому музыканту-патриоту не пришлось дожить до новых времен. В. В. Андреев умер в ночь с 25-го на 26-е декабря 1918 г., простудившись и тяжело заболев в одну из концертных поездок по фронтам гражданской войны. Советская власть открыла широкую дорогу народным инструментам. Благодаря сравнительной легкости обучения игре на них, возможности быстро организовать звучащий коллектив, народные инструменты стали проводником музыкальной культуры в широкие слои народа, что и являлось главной целью В. В. Андреева.

В Иркутске первый концерт народных инструментов был дан в 1904 г. Впервые на сцене клуба «Общества приказчиков» (ныне магазин «Ковры» по ул. Урицкого) выступил оркестр под управлением ученика В. В. Андреева Игнатия Левицкого. Он был пионером этого дела в Сибири и на Дальнем Востоке, где о балалайке, как о концертном инструменте, имели весьма смутное представление. Игра на балалайке И. Левицкого поражала тонкостью исполнения, а главное, глубиной и безграничностью чувства. Он просто очаровывал слушателей своей великолепной игрой. «Листок объявлений», выпускаемый в те годы в г. Благовещенске, писал: «Приветствуем господина Левицкого как артиста, как творца, способного облагородить своим талантом балалайку. Пусть смеется и плачет в его руках детская игрушка, согретая его вдохновенным огнем».

Оркестр И. Левицкого успешно выступал в Чите, Хабаровске, Красноярске, Томске. В Иркутске выступления оркестра были встречены необыкновенно тепло, и, когда оркестр выехал дальше, на Восток, с ним отправились в путь, сбежав из дома, три юноши: Владимир Соснин, Пантелеймон Холодилов и Николай Шапиро, ставшие страстными поклонниками народной музыки. Претерпев много лишений, они вернулись в Иркутск, овладев все же игрой на народных инструментах. Начались самостоятельные репетиции. И вот, 27 марта 1905 г. состоялся первый концерт иркутского оркестра народных инструментов...

На эстраде — двенадцать добрых молодцев. Иначе и нельзя было назвать молодых ребят в ладных русских одеждах: голубых шелковых рубахах со шнуровыми опоясками, русских шароварах тонкого сукна и красных сафьяновых сапожках. Небольшой переполненный зал клуба дрогнул от бурных аплодисментов. На приветствия скромными поклонами отвечал руководитель оркестра В. А. Сос-

нин, молодой русоволосый человек небольшого роста в хорошо сшитом черном костюме. По его знаку оркестранты, как один, положили на колени свои инструменты, взмах палочкой — и оркестр заиграл... И как заиграл!

Вспоминая об этом оркестре, старейший иркутский инструменталист и дирижер Е. П. Медведев писал: «О первых выступлениях в 1888 г. кружка балалаечников В. В. Андреева передовые критики, добросовестные очевидцы и некоторые крупные музыканты единодушно утверждали, что выступления оркестра поражали слушателей. То же самое можно было сказать и о впечатлении, какое произвел на меня наш первый народный оркестр».

На фоне серой музыкальной жизни города тех лет это было значительное явление. Поражало то, как небольшая группа молодых ребят с нехитрыми инструментами могла проникнуть в глубины музыкального народного творчества, как могла передавать национальный характер, мудрость, красоту, задушевность, гармоническое величие и мелодическое многообразие русских песен, танцев, плясок. От широких, распевных песен хотелось расправить плечи, выше поднять голову, почувствовать в себе оставленного где-то в веках русского богатыря, грустные лирические песни щемили сердце, а удалые, веселые наигрыши заставляли пуститься в пляс. Неудивительно, что каждая исполненная пьеса вызывала бурю восторга. Простые инструменты, слитые в ансамбль, обладали волшебной силой.

Окрестр быстро творчески рос, добиваясь такой сыгранности, такого ансамбля, что обычные музыкальные средства выразительности наполнялись единым порывом, одним дыханием.

Состав иркутского городского оркестра народных инструментов был невелик — 12—15 человек. Почти все участники были служащими и работниками торговли, только трое были «посторонние»: двое учащихся и один парикмахер.

Конечно, главная заслуга, достойная уважения и почтительной памяти, в организации и художественном росте первого оркестра принадлежит его основателю Владимиру Акиндиновичу Соснину. Это был очень одаренный человек: прекрасный художник, интересный актер, большой знаток русской народной музыки, отлично игравший на балалайке, энергичный организатор и неутомимый труженик. Все свои знания в течение 25-летней творческой деятельности он посвятил созданию в Иркутске оркестров народных инструментов и распространению в самых широких массах любимой им балалайки.

Оркестранты мечтали обогатить оркестр новыми звучностями, ввести в него: жалейки, брелки, свирели, гусли, накры, гудки (старинные балалайки, на которых во времена скоморохов играли смычком).

Оркестр успешно развивался творчески, постоянно расширялся его репертуар. Появились первые солисты-вокалисты: Мария Захарова, Людмила Жданова, Адольф Свободогорский. Они исполняли русские народные песни, романсы Глинки, Варламова, Гурилева. Оркестр принимает участие в драматических постановках с пением. Особенным успехом пользовался народный водевиль Стаковича «Ночное», который позволял включать как вставные номера многие русские песни и попевки.

Постоянной базой на протяжении многих лет служил для оркестра клуб «Общества взаимопомощи приказчиков». Концерты в клубе и учебных заведениях создают оркестру большую популярность. При клубе образуется кружок обучающихся игре на балалайке.

В 1912—1913 гг. оркестр начинает гастрольную деятельность, выезжает в окрестности Иркутска и дальше по Иркутской губернии. Чаще и охотнее всего оркестр с солистами выезжал к железнодорожникам станции Иннокентьевская (ныне Иркутск II), где их всегда с радостью принимали.

Деятельность оркестра давала свои плоды. В 1907 г. в Иркутске возник первый школьный оркестр в промышленном училище. Им руководил учащийся старших классов Александр Нефедьев. Несколько ранее, в 1902—1904 гг. в промышленном училище существовал небольшой струнный оркестр, которым руководил известный в то время

педагог Парфений Дмитриевич Беляев (отец известного пианиста и скрипача).

Итогом большой творческой работы оркестра явился его десятилетний юбилей. Подготовка к нему была тщательной. Юбилейное празднество проводилось в клубе «Общества приказчиков». Декорации были выполнены по эскизам В. А. Соснина. В первом отделении была поставлена мызыкально-драматическая миниатюра «Сказка о царе Ахромее и жене его прекрасной Евпроксии» Пергамента. Это веселое подражание русской сказке. Впоследствии эта пьеса шла много лет с большим успехом. Второе отделение открыл оркестр. Была представлена большая программа, в которую были включены и произведения, исполнявшиеся в первые годы деятельности оркестра.

Переполненный зал, чествовал талантливый коллектив. Многие выступления сохранились в адресах и почетных грамотах, врученных тогда оркестру. С сердечной теплотой отмечалось значение работы оркестра, высокое мастерство музыкантов Г. Арбутовского, П. Баталина, К. Григорьева, А. Дмитриева, М. Кабанова, Н. Калмыкова, К. Родина, С. Румянцева, И. Семенова, В. Соснина, А. Федотова, П. Холодилова, Н. Шапиро, А. Ягодкина.

Первая мировая война к концу 1916 г. расстроила ряды прославленного оркестра, и его работа на некоторое время замерла.

Шел 1920 г. Остатки колчаковских войск, отступая под ударами Красной Армии, откатывались все дальше на восток. В торжественной обстановке в Иркутск вступила 5-я Армия. А в 1921 г. профсоюз Рабис (союз работников искусств) организовал у себя секцию учета и распределения работников искусств, которая и приняла решение о создании оркестра народных инструментов. Руководителем был вновь приглашен Владимир Акиндинович Соснин. В эти годы он работал в политическом управлении 5-й армии и занимался созданием оркестров в армейских частях. В 1922 г. В. А. Соснин отпраздновал свой 15-летний юбилей работы с оркестрами.

Во вновь организованном оркестре ведущую роль играли участники еще первого оркестра, вернувшиеся с полей гражданской войны. Оркестр пополнился и молодежью из студенческой секции Рабис и некоторыми профессионалами: А. С. Слободынюк — балалайка, В. Печенкин — контрабас.

С первых же дней установления Советской власти в Сибири и в Иркутске начался небывалый, бурный рассвет народного творчества. Остались позади пренебрежительное отношение к балалайке, чиновничьи придирки и преграды к распространению народных инструментов. Особенно велико было увлечение балалайкой — инструментом, пригодным для сольного исполнения, для участия в различных ансамблях и для домашнего музицирования. Организуются курсы обучения игре на балалайке, создаются ансамбли и оркестры народных инструментов при профсоюзах, на предприятиях, в воинских частях.

Большое влияние на развитие оркестров народных инструментов в Иркутске оказал большой армейский оркестр, прибывший с частями 5-й армии. Его дирижером был чех Ян Пэчш. В этом оркестре играли и многие иркутяне, которые позднее перешли во вновь организованный оркестр при союзе Рабис.

Руководитель оркестра В. А. Соснин предложил инсценировать некоторые сюжетные романсы и русские песни. Большим успехом, например, пользовалась инсценировка баллады А. Рубинштейна «Пред воеводой», в которой рассказ вел мужской хор собравшихся на воеводском дворе крестьян и стрельцов, приведших к воеводе удалого разбойника. Такие песни, как «Пряха», «Жница», «Колыбельная» и др. исполнялись солистами в соответствующих костюмах. К инсценировкам массовых сцен привлекался хор. Например, в инсценировке «Посиделки» хор изображал молодежь, собравшуюся на посиделки, и исполнял много бытовых песен. Особенно успешно шла инсценировка «Русская свадьба». Многие свадебные обряды были театрализованы, а песни сопровождали весь свадебный обряд: от скорбных песен расставания невесты с родным домом и с подругами до веселых плясок подружек на свадебном пиру. Инсценировки музыкальных

номеров усиливали эмоциональную силу песен, придавали выступлениям оркестра больше живости, красочности, чем еще сильнее привлекали публику к народному искусству.

Оркестр еженедельно выезжал в маратовский рабочий Дворец с концертами, которым предшествовали краткие беседы о народной музыке.

Зимой 1924—1925 гг. профсоюз ВСАСОТР (загадочное название расшифровывалось так: Всероссийский союз административных, советских, общественных торговых работников) совместно с работниками Забайкальской железной дороги создали свой клуб и назвали его клубом имени «Октябрьской революции» (КОР), который затем сыграл большую роль в культурной жизни Иркутска. Первоначально клуб находился в помещении Забужпо (Забайкальское управление железнодорожных потребительских обществ) (сейчас Дом офицеров). Летом 1925 г. КОР перешел в Народный Дом (ныне театр музыкальной комедии). На базе этого клуба оркестр В. А. Соснина реорганизуется, пополняется новыми людьми, разучивает более сложный репертуар. Каждую субботу на предприятиях союза даются концерты. В оркестр пришло много талантливых музыкантов: А. Зоркин, А. Богуславский, Г. Заруба, К. Переверзев, М. Пороховников, К. Яльцев, И. Чусов, Н. Синцов и др.

3 мая 1925 г. общественность города и профсоюзы отмечали в городском театре 20-летний юбилей организации первого оркестра народных инструментов. После доклада секретаря Совета профсоюзов И. Е. Воробьева оркестром был дан большой концерт.

Концерт показал, в какой мощный художественный коллектив превратился оркестр. В первом отделении исполнялась виртуозная оркестровая сюита Н. П. Привалова «Картины русских сказок» в пяти частях. Второе отделение открывалось инсценировкой «Русские песни в лицах», специально переработанной к этому концерту и усиленной хорами (хором руководил В. В. Макеев). Последующая программа посвящалась женской русской песне.

В поздравлениях общественности отмечалось не только образцовое исполнительское мастерство, но и огромное значение работы оркестра в развитии послереволюционной музыкальной культуры города, его большая пропагандистская роль в деле распространения в широких массах музыкальных знаний и народных инструментов.

Летом 1925 г. оркестр КОР, пополненный кружковцами других клубов, принимает участие в двух грандиозных массовых постановках. Первая постановка проходила на стадионе «Труд». Ставилась пьеса «Племя Нечивоков», в которую были введены фабульные пляски под оркестр народных инструментов. Вторая постановка была разыграна на Ангаре против сквера им. Парижской Коммуны (ныне бульвар им. Гагарина). При эффектном вечернем освещении на лодках была инсценирована песня о Степане Разине «Из-за острова на стрежень». Большой хор и оркестр народных инструментов в ярких русских костюмах, сидя в украшенных лодках, изображали ватагу Разина, роль которого исполнял артист драматического театра Н. И. Дубов. Инсценировка привлекла тысячи зрителей.

Очень жаль, что не сохранились записанными тексты инсценировок и подобранные к ним песни. Такая форма популяризации русской песни очень действенна и могла бы применяться и сегодня.

Под влиянием оркестра В. А. Соснина в Иркутске создаются оркестры народных инструментов в управлении связи, Текстильторге, Доме работников просвещения, в милиции, в саперных частях, в Маратовском рабочем дворце, железнодорожном клубе станции Иркутск II. Ими руководили способные музыканты-самоучки: И. П. Федоров, Юрий Смирнов, Александр Ширяев, Николай Синцов, Петр Клеопатров, Георгий Заруба.

Осенью 1925 г. В. А. Соснин в Бодайбо, где работает в течение трех лет руководителем художественной самодеятельности приисковых клубов и организует ансамбли народных инструментов. Руководство оркестром КОР было поручено Евгению Петровичу Медведеву.

Оркестр вырос в большой слаженный коллектив, постоянно пополняющийся юными исполнителями. В репертуаре были «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка», «Ночь» Рубинштейна и его же «Тореадор и Андалузка», «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Глинки, «Ноктюрн» и «Юмореска», «Осенняя песнь» Чайковского и множество других произведений. Игрались многочисленные вальсы и марши, в том числе написанные В. А. Соскиным и П. Холодиловым.

Для проведения концертов в дни знаменательных дат оркестр усиливался приглашенными музыкантами или объединялся с оркестром других клубов. Так, в составе 120 музыкантов оркестр выступил на торжественном собрании, посвященном 10-й годовщине Красной Армии. На нем были с большим успехом исполнены «Реве та стогне Днипр широкий» в обработке Ленца, марш «Старые друзья» Тейке, русская народная песня «Во лузях» в обработке Каркина.

Оркестр приглашался и для встречи приезжавших в Иркутск гостей. Состоялась встреча с партийной делегацией Коммунистической партии Германии. Известные народные певицы Ирма Яунзен и Евгения Щербина-Башарина, будучи на гастролях в Иркутске, пели в сопровождении оркестра КОР. Концерт имел громадный успех.

Творческим успехам оркестра в немалой степени способствовали хорошие материальные условия. Народный оркестр располагал специальным репетиционным залом, светлым, просторным, с хорошей мебелью. Новые музыкальные инструменты изготавливал иркутский мастер Д. М. Михайлов. Они отличались изяществом отделки и хорошей звучностью. Высокое искусство Михайлова достойно сравнения с работой Андреевских мастеров С. И. Налимова и Ф. И. Пасербского.

В те годы в репертуаре оркестра постоянно были любимые иркутянами переложения Ленца, Андреева, Каркина, Насонова, Привалова, Фомина, увертюры Келлер-Бела, фрагменты из оперетты «Сильва», «Голландочка», «Коломбина», фрагменты из опер «Фауст», «Травиата», «Сельская честь», две сюиты «Пер-Гюнт» Грига, «Японские картинки» Какемоно.

Оркестр сопровождал и большие драматические постановки клуба. Из них особенно сложными были «Дуня Тонкопряха», «Главная улица» по Демьяну Бедному, «Два отпускника» и др.

Накопленный песенный материал систематизировался, составлялись тематические концерты, которые сопровождались лекциями.

В 1928 г. в Иркутске начал свою работу радиоузел местного значения. При нем стали создаваться различные творческие коллективы. Оркестр народных инструментов еще раз переорганизовался и продолжил свою работу в Иркутском радиокомитете под руководством талантливого музыканта-самородка Георгия Марковича Зарубы. В коллектив пришли братья Пьянковы, Николай Слободчиков, Всеволод Чусов, Константин Заболотский, Николай Белоглазов и другие музыканты.

В 1935 г. оркестр возглавил очень способный музыкант и дирижер Афанасий Слободынюк, дело которого впоследствии продолжили дирижеры К. Заболотский и В. Чусов. В течение 25 лет оркестр успешно выступал на радио и на открытых концертах. Особенно выделялись балалаечники Михаил Федотченко, Алексей Афонин, Леонид Каменский. Под влиянием оркестра радио в Иркутске повсеместно создавались оркестры народных инструментов. Их в те годы насчитывалось свыше сорока.

В 1953 г. творческие коллективы Иркутского радиокомитета были распущены. Закончилась деятельность и оркестра народных инструментов.

Конечно, жанр народных инструментов в нашем городе не прекратил своего существования. Самодеятельные оркестры были в госуниверситете, горном институте, институте народного хозяйства, сельскохозяйственном институте, во многих школах, техникумах, Домах культуры, на предприятиях. Однако до 1960 г. в городе не было коллектива, который мог бы выполнить большую творческую задачу общегородского центра народной музыки.

В конце 50-х гг. музыкальная жизнь в

Иркутске оживилась. Первым большим событием было создание в 1958 г. симфонического оркестра областной филармонии. Вскоре решением Министерства культуры РСФСР было создано 100 любительских коллективов. Так возникли у нас и городской хор (руководитель В. А. Патрушев) и оркестр народных инструментов областного Дома народного творчества.

Весной 1960 г. в Москве было созвано Всероссийское совещание руководителей оркестров народных инструментов, посвященное дальнейшему развитию этого жанра у нас в стране. На это совещание я был направлен как руководитель городского оркестра народных инструментов г. Ангарска. Вскоре директором областного Дома народного творчества Г. Л. Люрисом я был приглашен на работу в Иркутск для организации городского любительского оркестра народных инструментов, который должен был стать продолжателем замечательных традиций прошлого. Дело было для меня, прямо скажу, почетное, но и ответственное.

Создание коллектива было сопряжено с большими организационными трудностями: нехваткой инструментов, недостатком нотного материала, отсутствием постоянного репетиционного помещения.

Оркестр был создан накануне юбилея — 100-летия со дня рождения В. В. Андреева. Иркутский оркестр усиленно готовился к этому торжеству. Были получены прекрасные музыкальные инструменты из мастерских ВХО и московской экспериментальной мастерской. Был приобретен комплект неаполитанских инструментов (мандолины, мандолы, лютни, гитары), были заказаны клавишные гусли, литавры и другие ударные инструменты.

В оркестре объединились люди самых различных профессий и возрастов. Активное участие в работе коллектива приняли старейшие инструменталисты Иркутска П. В. Шмотинин, игравший еще в первом иркутском оркестре 1905-1910 гг., балалаечники Л. А. Каменский, А. А. Афонин, П. И. Мажаров, домрист М. И. Пороховников (участник оркестра политуправления 5-й армии), а также К. Ф. Яльцев, Л. И. Томберг, В. И. Чусов, Л. А. Серянов. Много было и талантливой молодежи: инженер Борис Белов, рабочий Владимир Серяпов, чертежница Татьяна Монастырева, библиотекарь Клавдия Полянская, мастер-строитель Валерий Юргенс, студенты Анатолий Сливин и Федор Воробьев, преподаватели культпросветучилища Владимир Шульга, Анатолий Загрудный, Григорий Меерович, домрист, педагог училища искусств Юрий Малышкин и др.

С самого начала своей деятельности оркестр поставил задачу широкой пропаганды русской народной музыки, произведений основоположника русских народных оркестров В. В. Андреева и зарубежной классики.

В оркестре создавались и свои оригинальные произведения. Солист оркестра, самодеятельный композитор Леонид Пащенко написал на слова руководителя оркестра М. С. Гезунгейта песни о нашем крае: «Сказ об Иркутске», «Баллада о Байкале», «Где б я только ни был», «Сибиряк-партизан». Эти песни успешно исполнялись автором музыки и другими певцами в сопровождении оркестра. Иркутский композитор П. Гоголев создал для оркестра сюиту «Сельские эскизы», написанную на материалах сибирского фольклора, «Плясовую» и «Лирический вальс». Множество оригинальных обработок сделали для оркестра его постоянные участники В. И. Чусов и Е. И. Медведев — старейший иркутский музыкант и дирижер, бывший руководитель оркестра КОР. Создавались и малые ансамбли: дуэт баянов; дуэт балалайки и гитары; трио домры, балалайки, гитары; ансамбль балалаек.

Оркестр стремился больше выступать на селе. Гастроли совершались в самые отдаленные районы области: Качуг, Жигалово, Кутулик, Залари, Слюдянка. За период активной работы с 1960 по 1974 гг. на селе было дано свыше 400 концертов.

Концерты обычно начинались поздно вечером. Как отрадно было видеть внимательные лица людей, пришедших сюда после нелегкого трудового дня. Всюду, где бы ни

выступал оркестр, концерт превращался в подлинный праздник. Его приезд в колхоз, совхоз, на ферму является для жителей большим событием.

Оркестр достиг главного — стал продолжателем дела В. Соснина и И. Холодилова. Для молодежи, полюбившей народные инструменты, оркестр стал коллективом, в котором они могли совершенствовать свое мастерство. Большое внимание уделялось и пению под оркестр. Имели успех у слушателей такие певцы и певицы, как Виктор Зарудко, Леонид Пащенко, Нина Науменко, Владимир Глушков, Станислав и Тамара Головушкины. Участники оркестра помогали самодеятельным ансамблям народных инструментов.

С 1960 по 1975 гг. оркестр подготовил и исполнил около 20 программ, регулярно выступал по радио и телевидению, освоил самый разнообразный репертуар, в который вошли произведения Андреева, Дителя, Куликова, Ленца, Будашкина, Глинки, Чайковского, Аренского, Римского-Корсакова, Шуберта, Шишова, Ракова, Чайкина, Коняева, Терентьева, Рыбалкина, Гоголева. Оркестром также выполнена обширная вокальная программа. За эти годы в общей сложности было подготовлено свыше 120 песен и романсов.

В последние годы народные инструменты все реже и реже звучат на клубной сцене, незаслуженно забывается оркестр, история которого насчитывает 100 лет. В таких городах нашей области, как Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тайшет, Тулун и даже в Иркутске, оркестры народных инструментов почти исчезли. Что это? Естественный отсев времени, перемена вкусов или равнодушие к музыкальной культуре своего народа, незнание его истории. Может быть, народные инструменты «устарели» или «устарела» сама русская культура? Нет, конечно, причина в другом. К Иркутской области прямо относятся слова Е. К. Лигачева на февральском Пленуме ЦК КПСС: «Распространение примитивной музыки оправдывают потребностями якобы особой, молодежной культуры. Раздаются голоса, что надо дать дорогу всем «модным» веяниям. Беда, конечно, не только в громкоголосых ансамблях. Тревожит, что на задний план отходят классика, целые пласты подлинного, народного искусства.

Примером сохранения и развития традиций народного музыкального творчества, пропаганды его среди молодежи является Грузия, некоторые другие союзные республики, чего не скажешь об иных областях России».

У нас ослаблено внимание к народным инструментам и творческих союзов, и учреждений культуры, и школы, и семьи. Очень важно, чтобы школа знакомила с исполнением на домре, балалайке, баяне, совершенно необходимо открыть классы щипковых инструментов во всех музыкальных школах. В Иркутском училище искусств класс щипковых инструментов развивается пока очень слабо. Первые, пока еще очень робкие шаги в этом направлении сделала областная филармония. Недавно начал свои выступления ансамбль народных инструментов «Мозаика». В музыкально-педагогическом училище и на музыкальном факультете Иркутского пединститута народные щипковые инструменты из программ исключены, а если и преподаются, то только факультативно. Такое же положение и в культурно-просветительском училище города. Нечего говорить и о пропагандистской работе этих учебных заведений. Следует подумать и об улучшении преподавания народных инструментов и в школе музвоспитанников, которая смогла бы стать базовой для училища искусств.

Прошедшие недавно смотры самодеятельного искусства показали, что нет народных оркестров в школах, техникумах и вузах г. Иркутска за исключением политехнического института. Многие руководители клубов, Домов и Дворцов культуры не только не содействуют, а наоборот, мешают созданию народных оркестров. Вместо них создаются многочисленные ВИА и дискотеки в угоду кассовым интересам. Хочется узнать, а чем тогда занимается так называемый научно-методический центр народной культуры? Почему не поднимает свой голос в защиту русской народной культуры, за ее возрождение?

Необходимо на радио и телевидении от-

крыть постоянную рубрику «Звучат народные инструменты». Настало время организовать оркестр народных инструментов и при областной филармонии.

За работу возрождения народной музыкальной культуры надо взяться всем миром, не откладывая ее до «лучших» времен. Именно наше непростое время требует вернуть прежний авторитет народным оркестрам, занимающим почетное место в сокровищнице русской музыкальной культуры.



Леонид **ОГНЕВСКИЙ**

ОЗОРНИК БУРУНДУЧОК

СКАЗКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рассказать хочу вам, дети,
Сядьте ближе и — мол-чок!
Как живет на белом свете
Малышок бурундучок,

Борькой прозванный, бедовый,
В полосатой шубке новой, —
Вы не видели его?
Прибежал к норе кротовой.
—Кто есть дома?
Никого!

Борька мигом — в нору,
Только хвост на ветру.
— Красота! Чистота
У Крота!..
На постель его с лапами — бух,
Из подушки вылетел пух.

Заглянул к Мышке-Полевке.
— Был в ягодниках,
на заготовке,—
Соврал,
— Да мало набрал. —
И немного помешкав:

— Дай кедровых орешков.
— У самой мало, с полгорстки.
— Больше не приду в гости!

Заскочил на березу к Синичке
(Там сидела она на яичках),
Вспугнул ее и, пока
Щебетала жалобно птичка,
Над гнездом сплясал трепака.

Уморился, умаялся. На пути домой
Припал к роднику с водой ледяной.
Пил, пил да купался часа три
И застудил что-то внутри.

Не встает с постели Борька,
Так скрутил его недуг,
Плачет мама, плачет горько,
Плачет папа Бурундук:

— Трудно жителю лесному,
Хоть не стужа и не дождь,
За лекарствами больному
Не поскачешь, не пойдешь,
«Неотложную» не кликнешь,
Чтобы ехала скорей:
Ни аптек, ни поликлиник
Нет у птиц и у зверей...

Той порою неподалеку
Проносило каким-то ветром Сороку.
Услыхала она бурундуковы причитанья
сквозь слезы
И уселась на вершинке березы.
— Птицы, звери, — зачастила, — сюда,
У Бурундука с Бурундучихой беда!

Полетела Сорока над таежными чащами,
Над ручьями, в прохладе журчащими,
Да над гарями в алых зарослях иван-чая,
Оповещая:

— Там, за речкой, там, на пригорке,
Расхворался маленький Борька,
Стонет, охает день и ночь.
Собирайтесь помочь!

Из норы своей выбрался Крот
И разинул спросонья рот:
— Борька болен? Тот озорник,
Что ко мне тут недавно проник?
Озорник он и сорванец!
Вечно носится, свищет,
для него это игрушки,
А каково мне без подушки?!
Так что пусть его лечат мать и отец.

Взбежала на корягу Полевка,
Ушастенькая головка,
Сзади хвостик тонкий пришит,
Волнуется, вся дрожит:

— Как-то раз под навесом из веток
Мне попалось съестное для деток,
Гриб там, ягодки — разная мелочишка —
И кедровая шишка.

Борька тут как тут,
даже пот на носу:
— Тяжелая, дай понесу.
Взял, понес да и выел полшишки,
Вчера явился за остальным.
Не хочу знаться с шальным,
Не прощаю плутишке!

У Синички, что сидела на ветке,
Успели вывестись детки.
Она тоже промышляла съестное,
Лесное,
Целыми днями трудилась
И на Борьку, ой, как сердилась,
А не поносила с наскока,
Шла издалека:

— Мы, Синички, мирные птички,
По тайге среди гор,
По холмам, по долинам
Достаем себе корм
Собственным клювом недлинным.
В летний зной, в стужу зим
Сложа крылышки не сидим,
Постоянно в движении.
Никому не грубим
И ничем не грозим,
Но и к себе требуем уважения.
А Борис — баловной.
Но сегодня-то он больной,
И к больному
Надо бы по-иному.

Засмущалась Полевка.
Да и Кроту стало неловко,
И сказал он: — Надо помочь.
Я и сам бы не прочь
Заглянуть к нему в закуток,
Да такой я ходок,
Пока скребусь до пригорка,
Ноги вытянет Борька.
А лекарства у меня есть.
Их в тайге нашей не счесть,
Только смотри да кумекай,
Дикий лес тебе будет аптекой.

Покопался Крот под кустом
И выволок сумку с красным крестом.
Были в той сумке: и вата
(С одуванчиков снятая),
И склеенная из лопухов клизма,
И почки березовые от ревматизма,
От ангины —
Кулечек сушеной малины,
От поноса — черемуха в туесочке
И тоже сушенная и не на солнце,
в тенечке,
Костяника, черника, морошка —

Всего понемножку,
Семена целебные и коренья...

— Доставишь, Синичка,
в пункт назначения?
Да тяжела без привычки
Оказалась ноша для птички.
— Может, ты осилишь, Полевка,
Если есть какая-то физподготовка?..
Но лесная норушка — срам! —
И зарядку не делала по утрам.

Обошлось без упрека —
Прилетела Сорока
Да с невестками,
сестрами
Пестрыми
Потолклись, почокали они тут,
Вздели сумку на ивовый прут —
И — айда —
Прямым ходом туда,
К Борькиной норке
На знакомом пригорке.

Синичка за ними, за непоседами,
Следом их
С узелком лекарств и харчишек,
Мол, не будет для больного излишек.
Заспешила в путь и Полевка,
набрала в рот
Покрупнее орешков из шишки початой
И, обласкав деток, внучаток, —
Вперед!

Постарались таежные жители,
Не злодеи, не мстители.
Встал с постели пострел
И забегал опять, засвистел.
С высоты обгорелого пня
Прострочил без запинки:
— Я такой, я особенный, у меня

Пять полосок черных на спинке.
Все умею я, все могу,
Заберусь и на кедр и на елку,
От медведя я убегу,
Надаю тумаков волку!..

Услыхал хвастунишку Крот.
— Опять тот?
— Тот, — сказала Синичка.
— Значит, привычка.
А тот уж следил за кротовой норой,
Сам: ха-ха да хи-хи.
Поскользнулся на валежине на сырой
С облезлой корой
И угодил в развилку ольхи.
Висит Борька на брюхе, ногами сучит.
До земли не добраться.
Кричит:
— Помогите, братцы!

Брат и сестрицы сошлись на совет:
Выручать неуемного или нет.
— Погодить бы, — сказал Крот.
— Что вы, батюшка, не годится, —
Сказала Синица.
— Намучается, брюшко потрет.
— Так-то, так, — согласился Крот.

Принялись они, Крот и Полевка —
Была у обоих сноровка —
Корни у дерева подгрызать.
А Синичка — им помогать,
Крылышками махать,
Свежим воздухом обдавать...
Все свистело и пело.
Да не спорилось дело.

Отец с матерью прибежали,
Закричали:
— Бо-орюшка!
Ты ж наша радость и горюшко!..

— Бо-оренька!
Ты ж у нас маленький, хворенький!..
Ох, не бегать бы тебе далеко,
Не залезать высоко,
Полежать бы дома после болезни
Полезней.

А Борька в своей западне:
— Больно мне!
Страшно мне!
Если не выручите к утру,
Умру.

И закрыл бы глазки до срока,
Да прилетела Сорока
Опять с сестрами
и невестками,
Да с Дроздами, птицами
дерзкими,
С Кедровками ловкими,
Сойками бойкими.
Навалились они на ольховые сучья,
Крыл не жалея,
И вызволили из беды дуралея,
Спасли от гибели неминучей.

Обрадовался Борька,
На землю — скок,
Поторчал под ольхою чуток,
Как свеча,
И к своему пригорку
Задал стрекача.

У березы синичкиной вдруг
Сбавил прыти, описал круг:
Он заметил, что там, наверху,
В тесном доме у птички,
В желтоватом пуху
Птенчики-невилички
И один — на краю гнезда,
Расшеперил клювик из теста.

Борька мигом туда,
Усадил шалопая на место.
Сам скорее домой. На пригорке
Повернул к полевкиной норке...
Метнулся к Кроту по кустам...
Чтобы сделать что-то хорошее там,
Может быть... может быть... может быть,
Ту подушку чем-то набить!

1975 — 1987



ЖИЛ-БЫЛ ВОЛШЕБНИК

Говорят, мир все еще держится на чудаках... Спасибо вам, что вы еще есть!

Из книги отзывов Ангарского музея часов

Познакомился я с Павлом Васильевичем лет 20 тому назад. Я поселился в Ангарске, в одном из домов на улице Сибирской.

Помнится, уже несколько дней я страдал бессонницей. Перестали греметь трамваи, изредка проезжала машина и снова наступала тишина. И вот в этой тишине я вдруг отчетливо услышал звуки далеких колоколов. Словно издалека, из-за дальних лесов эхо доносит бой монастырских звонниц. Иногда в этот тягучий звон вплетались серебряные звуки колокольчиков — будто где-то в поле скачет почтовая тройка, то вдруг откликнется кукушка.

На следующий день все повторилось снова. Одна из соседок после моего рассказа понимающе покивала головой, и тут же ответила:

— Милай, да ведь это в квартире Павла Васильевича. Мы уж тут привыкли, будто так и надо. Зайди-ка, милай, да погляди, что у него творится, чисто музей...

Я постучался к нему. Меня встретил худощавый человек средних лет, взгляд за стеклами очков внимательный. Он пригласил меня в комнату. И тут я впервые в жизни увидел в квартире такое множество часов. По стенам, на полу, на столе, на тумбочках и на шкафах — везде, где только можно поместить, стояли и висели часы. Они издавали разноголосый стук, от тоненького «тик-тик» до звучного «так-так». Были тут и старинные кукушки, и музыкальные с колокольчиками. На одних маятники ходили быстро-быстро, словно торопились куда-то, а на других, что стояли во весь свой рост от пола до потолка, маятник качался не торопясь, медленно. Из дверок одних часов выглядывал улыбающийся Дед Мороз. На тумбочке, высоко подняв свой хобот, призывно трубил слон. В этом необыкновенном параде измерителей времени были и старинные хронометры.

В то время, когда я встретился с Павлом Васильевичем Курдюковым, он еще работал в тресте Сибмонтажавтоматика наладчиком точных приборов. Товарищи по работе уважительно называли его «профессор». Наверное, они были правы — его профессиональные знания и опыт позволяли решать сложнейшие инженерные задачи. К нему за консультацией нередко обращались с других предприятий. Его коллеги вспоминают, что когда выходили из строя приборы отечественного и зарубежного производства, то всё несли к нему. Он, что называется, влезал в «душу» этих приборов и говорил, в чем их слабость, а в чем достоинство.

А часы? Часы были его увлечением. И началось это еще в пору далекой юности.

Родился и вырос Павел Васильевич в селе Курдюки Вятской губернии, откуда вышло немало замечательных русских умельцев, мастеров-самородков, в том числе и мастеров часового дела. Нужда была частой гостьей семьи. Ему рано пришлось пойти

работать. Об учебе нечего было и думать. Но огромная тяга к знаниям и природная любознательность помогли ему самостоятельно изучить азбуку, научиться читать и писать. Но его самым большим желанием было — познать секреты точной механики. Всю свою жизнь Павел Васильевич с огромной благодарностью вспоминал своего первого учителя, старого часовщика, который помог ему освоить часовое дело.

И дело пошло. Тринадцатилетним мальчишкой Павел Курдюков уже неплохо разбирался в настенных ходиках, комнатных будильниках, которые приносили ему чинить соседи, доверяя его небольшому опыту. Все это удавалось делать в короткие часы, свободные от крестьянских забот, уже лежавших на его мальчишеских плечах. Он пас скот и делал всю крестьянскую работу, какая полагалась по тем временам деревенскому парнишке.

А любовь к точной механике помогла ему в дальнейшем обрести профессию наладчика точных приборов автоматики.

Коллекционировать часы он начал случайно. Как-то попались ему в руки старинные японские часы. Заинтересовала незнакомая конструкция. Долго провозился с ними Павел Васильевич. Отремонтировал механизм, сам изготовил недостающие детали, и настала наконец минута, когда хронометр, качнувшись маятником, пошел. К удовольствию мастера, часы показывали точное время.

Они и заложили основу его коллекции. Но одни часы еще не коллекция. Незаметно, Курдюков уже сам не помнил как, пришли вторые, за ними третьи, а там и четвертые пополнили его собрание. А через полгода, когда их набралось около дюжины, он понял, что без часов, без их веселого размеренного ритма он жить не сможет.

Наведываясь к нему, я нередко заставал его в одной позе. Приложив ухо к часам, он внимательно вслушивался в ход механизма. В такие минуты я ловил себя на мысли, что сравниваю его с доктором, сосредоточенно выслушивающим своего пациента. Что-то было общее между ними. Наверное, то, что каждый из них выискивал в своих подопечных недуг.

Очень часто к нему приносили часы, от которых отказались все часовщики. Слишком настойчивым клиентам прямо советовали обратиться к Курдюкову, наперед зная, что Павел Васильевич не откажет и, главное, обязательно восстановит часы. Иногда к нему приносили такие, которые можно было смело выбросить. Обладая особым секретом мастерства (а может быть, волшебства), из утилизированного хлама он восстанавливал давно умолкший хронометр.

А может, и не было никакого секрета. Да и сам он частенько говорил с легкой картавинкой в голосе:

— Какой уж тут секрет. Просто надо побольше терпения и любви к своему делу...

Верно подмечено, что профессия всегда меняет человека сообразно делу, которым он занимается. Я обратил внимание на руки Павла Васильевича. Пальцы у него, словно шила, утончаются к кончикам. Это от постоянной работы с мельчайшими деталями. К тому же они у него особенно чувствительны. Он много и интересно рассказывает о системах часов, о мастерах прошлых веков. Его рассказы насыщены фактами из истории часового дела. Он и сам чем-то похож на старых мастеров — мудрых умельцев.

Большую помощь в поисках редких экземпляров часов ему оказали широкие публикации о нем в газетах и журналах. Читатели стали присылать письма, где предлагали часы, или называли адреса, где можно приобрести старинные хронометры. Так он познакомился однажды с жителем Куйбышева, собирателем антиквариата, который завещал ангарскому коллекционеру небольшое собрание оригинальных часов.

Приходили письма из Эстонии, Сочи, Владивостока, Магадана, а в 1978 году в гостях у ангарчан вместе со своей семьей побывал советский космонавт дважды Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко. Посетил он и музей часов. С удовольствием он посмотрел экспозицию измерителей времени, а на прощание написал в книге отзывов теплые слова восхищения и сказал, что вышлет прибор, который побывал в космосе во время его второго полета на космической станции «Салют-6». Обещание

свое он вскоре выполнил, и этот прибор времени ныне хранится в музее.

— Удивительно богата земля наша хорошими людьми, — сказал как-то Павел Васильевич. — Посудите сами, ведь шлют не только часы. Шлют приглашения в гости, шлют гостинцы, шлют лекарства разные и пожелания, чтоб берег себя...

Но беречь себя было все труднее. Однако даже в самые трудные дни он улыбался, умел подбодрить себя и других. А самое лучшее лекарство для него — новые интересные часы. Тогда забывались болезни, он словно молодел, выпрямлялся и его было не узнать, он вновь был полон сил. В такие минуты он признавался:

— Здоровье-то у меня хлипкое, и если б не мое это дело, давно бы скопытился... А оно меня греет и сил придает, и сам видишь, живу еще!..

Вот он тот случай, когда любимое дело дает силы, заставляет жить и работать.

Трудно пришлось бы Павлу Васильевичу, если б не Ульяна Яковлевна, верная подруга его жизни. Да простят меня женщины, я не хочу их обидеть, но далеко не в каждой семье найдется жена, которая окажется первой помощницей мужу в таком хлопотливом и, скажем откровенно, разорительным для семейного бюджета деле, как собирательство часов. А Ульяна Яковлевна взяла на себя этот груз, несмотря на большую семью (четверо детей), несмотря на то, что порой приходилось лишаться самого необходимого.

Когда коллекция выросла до таких размеров, что уже не вмещалась в квартире, Курдюковы задумались. Как быть дальше? К тому времени популярность коллекции Курдюкова была огромна. К ним домой приходили ангарчане, и в одиночку и группами, приезжали люди из дальних краев нашей страны, прослышав об уникальном собрании измерителей времени. И вот тогда и пришла мысль: а почему бы не создать в городе музей часов? С большим пониманием встретили предложение Курдюковых в ангарском горисполкоме, где председателем был Павел Маркович Громович. Большую поддержку новому начинанию оказали городской комитет партии и бывший тогда первый секретарь Василий Дмитриевич Сумин. Вскоре и помещение нашлось, и почти целиком коллекция перекочевала в залы открывшегося музея. Произошло это в 1969 году. Тогда же пришли работать в музей и Курдюковы. Кто же лучше их присмотрит за коллекцией? Павел Васильевич в своей мастерской-лаборатории работал над очередным экспонатом или проводил текущую ревизию механизмов, Ульяна Яковлевна — смотритель зала музея. Ей же часто приходилось вести экскурсии.

Коллекционирование для Павла Васильевича стало смыслом жизни. Ведь восстанавливая старинные часы, он выполнял очень важную задачу — это забота о сохранении памятников культуры. За эту работу он не раз награждался дипломами и памятными подарками областного общества по охране памятников.

Как-то в беседе (она состоялась незадолго до его смерти) Павел Васильевич заметил:

— Вот вы говорите о тяжелом бремени коллекционера. Конечно, тяжела наша ноша. Скажем, филателистам, тем легче. Мне, может, тяжелее в прямом и переносном смысле — ведь попадаются иногда часы весом более ста килограммов. А вот говорят, кто-то там трамваи коллекционирует, ну тому и вовсе тяжело... Ну, а если всерьез, коллекционирование — это постоянный поиск, сопряженный с большими трудностями. Ведь за пополнениями к своей коллекции мне и моей супруге пришлось объездить чуть не весь Советский Союз. Ездили в Куйбышев, Уфу, Улан-Удэ, Москву, Кисловодск. Очень часто на это тратили свое отпускное время. Кроме того, все это требует солидных средств на дорогу, на проживание в гостиницах, на покупку. Ведь за так никто не решается расстаться со своей вещью, пусть даже старой и ему не нужной. А сколько труда приходится вкладывать мне не только как часовщику. В такие моменты я становлюсь и краснодеревщиком, и бронзовщиком, и чеканщиком, как говорится, един во всех лицах.

Кому-то может показаться, что если я нахожу часы, восстанавливаю их и музей покупает их у меня, то я самый состоятельный человек. А невдомек этим людям, что

все эти средства снова уходят на дорогу, на поездки, на приобретение уже других экспонатов. А приобретать становится все труднее. В последние годы вокруг старины, антиквариата создался какой-то нездоровый ажиотаж. Все это, естественно, порядком мешает истинным коллекционерам.

Сейчас много говорят о памятниках старины. Я помню замечательные слова, сказанные кем-то из наших классиков: «Уважение к древности есть признак высокого просвещения». Это, прежде всего, призыв к нашей памяти. Очень хорошо, что мы стали об этом говорить, призываем беречь, только жаль, что с некоторым опозданием опомнились.

Скажу о часах: по роду своего увлечения непосредственно занимаюсь делом сохранения памятников культуры. Мне приходилось возвращать к жизни часы старинных западноевропейских мастеров. Слов нет, и Юнганс, и Мозер, и Нортон, и Брегет замечательные мастера, вписавшие свои имена в историю часового дела. Но и у нас есть чем гордиться. Я бесконечно преклоняюсь перед великим талантом Ивана Кулибина. Его часы, хранящиеся в Эрмитаже, настоящий шедевр мирового искусства. Или династия вятских чудодеев Бронниковых, создавших деревянные часы. Это замечательная память мастерству русского человека. У нас в России работали удивительные мастера Михаил Перхин, Лев Нечаев, Терентий Волосков. А сколько их было в России, известных и неизвестных и незаслуженно забытых! Я к тому говорю, что память, она как вечный огонь, должна гореть в душе каждого человека, постоянно взывать к уважению своей истории, ко всему тому, что создано трудом и талантом народа. Ведь мы не Иваны, не помнящие родства, а люди, родившиеся на этой земле, с замечательной историей, с огромным культурным населением...

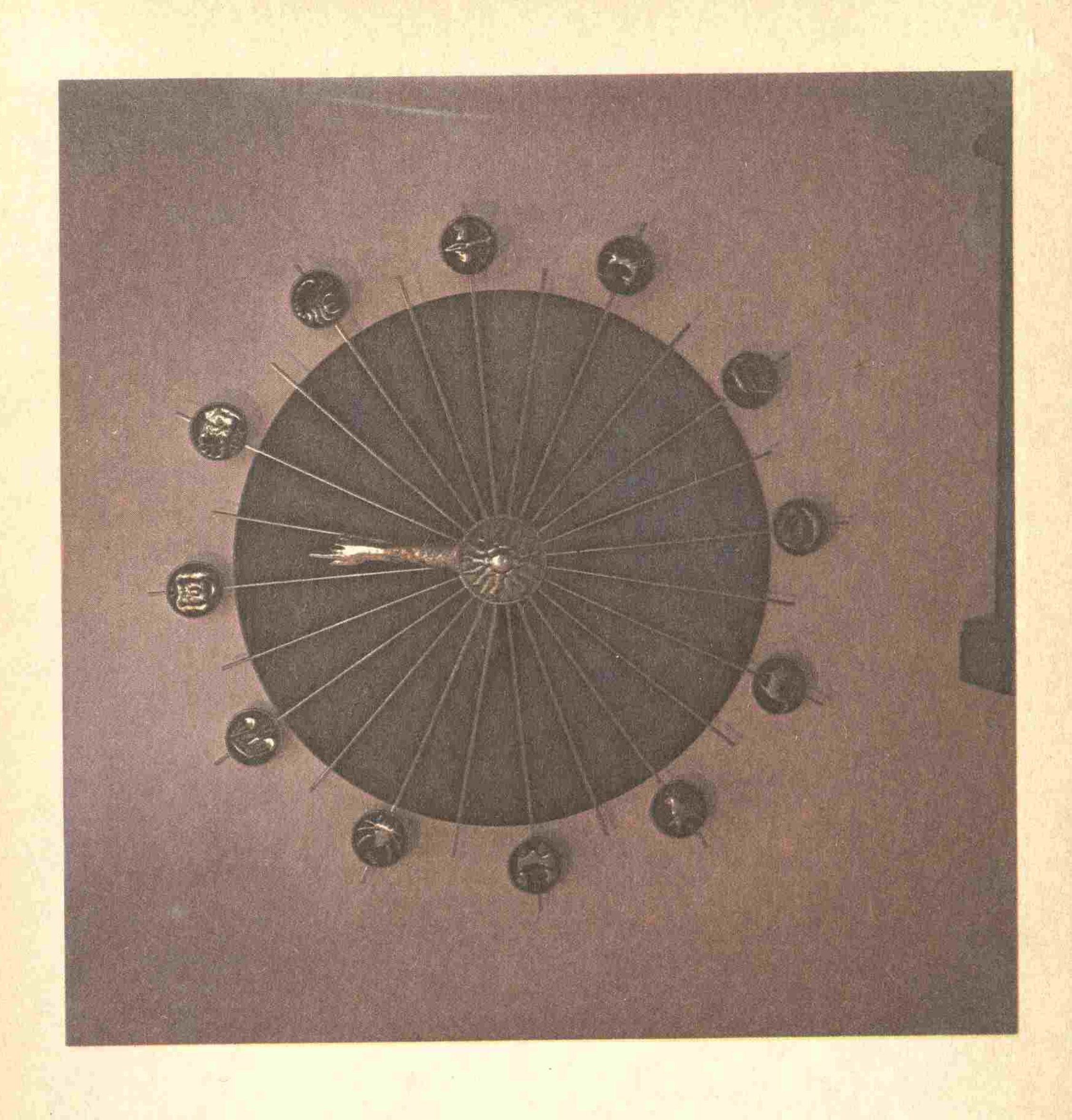
АМИР ХАМЗИН

Составитель В. В. Козлов
Редактор О. Е. Арбатская
Технический редактор Л. А. Жернова
Художественный редактор В. А. Лужков
Корректор В. М. Ермакова

Адреса редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.
Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, г. Чита, ул. Богомягкова, 23.
Союз писателей, тел. 3-45-78.

ИБ № 1564.
Сдано в набор 27.12.88.
Подписано в печать 4.05.89.
НЕ 01207.
Формат 70×90$^{1}/_{16}$.
Бумага книжн.-журн.
Усл. печ. л. 9,95 (с вкл.).
Уч.-изд. л. 12,76 (с вкл.).
Усл. кр.-отт. 12,57.
Тираж 12 000 экз.
Заказ 1875.
Изд. № 6291.
Цена 75 к.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.



Часы настенные с изображением знаков зодиака, изготовленные П. В. Курдюковым. Чеканка, 1973 г.

70 к.



ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН	ЧТО ПОСЕ
МИХАИЛ ПРОСЕКИН	ПЧЕЛЫ. Рас
ВЯЧЕСЛАВ ПРОЦЕНКО	МОМЕНТ ИС
ВИТАЛИЙ РУДЫХ	ПЕТРОВНА
ВИКТОР ЕШТОКИН	НЕ ФУНТ
ВЯЧЕСЛАВ ОГАРКОВ	ОТСРОЧКА.
НАДЕЖДА ТЕНДИТНИК	ТАМ ЛИ СП
ВЛАДИМИР СКИФ ТАРАС МАНДАНОВ ИОСИФ БРО	СТИХИ



Иркутск, Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1989